

ПАСЕЧНИК

*Отвѣты на вопросы,
которы́е ты задаёшь себе по ночам*

*Почему все гонятся
за богатством?*

*В чём моё
предназначение?*

*Почему меня
обесценивают?*

*Почему меня
используют?*

*Во всём виноваты
родители?*

*Почему я такой
невезучий?*

Мария Алексеева

Мария Алексеева

**Пасечник. Ответы на вопросы,
которые ты задаёшь себе по ночам**

«Автор»

2026

Алексеева М. А.

Пасечник. Ответы на вопросы, которые ты задаёшь себе по ночам /
М. А. Алексеева — «Автор», 2026

Андрею тридцать восемь. Бизнес рухнул, жена ушла, друзья исчезли. Он садится в машину и едет в никуда — подальше от Москвы, от себя, от вопроса, который не даёт спать: зачем я живу? В глухом посёлке на берегу реки он встречается Игната Петровича — старого пчеловода, который не учит словами, а просто живёт рядом. Они чинят крыльцо, расчищают тропу к воде, качают мёд, хоронят соседей, спасают лодку в грозу. И через это простое, бытовое, земное в Андрее начинает оживать то, что он считал навсегда потерянным. Это книга-притча о мужчине, который потерял всё и нашёл главное. О прощении отца, которого уже нет. О деньгах, которые перестают жечь ладонь. О вере, что рождается не из доказательств, а из холодной воды, когда тонет тот, кого любишь. О любви без ожиданий. О смерти, которая оказывается не ямой, а дверью. И о тихих ответах на вопросы, которые вы задаёте себе по ночам.

© Алексеева М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ЧАСТЬ I. ПРИЕЗД	7
Глава 1. Дорога в никуда	7
Глава 2. Старик с пасеки	12
Глава 3. Покусанный пчёлами	16
Глава 4. Почему все ищут предназначение?	20
Глава 5. Расчистка тропы	24
Глава 6. Чужая колея	29
Глава 7. Поездка на рынок	33
Глава 8. Почему все стремятся быть богатыми?	37
Глава 9. Старый фотоальбом	42
Глава 10. Дом, который построил отец	46
Глава 11. Ремонт крыльца	51
Глава 12. Почему мы обвиняем родителей?	56
Глава 13. Письмо при свече	60
Глава 14. Прощение как освобождение	64
Глава 15. Первая ночь без тревоги	69
ЧАСТЬ II. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ВЕРА	74
Глава 16. Бабушка у коттеджа	74
Глава 17. Почему кому-то всё, а кому-то ничего?	78
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Мария Алексеева

Пасечник. Ответы на вопросы, которые ты задаёшь себе по ночам

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга родилась из вопросов, которые не дают спать. Тех самых, что приходят в три часа ночи, когда дом затих, телефон наконец замолчал, а ты лежишь и смотришь в потолок. Днём их можно заглушить работой, разговорами, делами, новостями, бесконечной лентой в телефоне. Но ночью они возвращаются и садятся рядом, как старые знакомые, которым ты задолжал слишком давно.

Зачем я живу? Почему всё сложилось именно так? За что мне это? Почему у одних всё, а у других ничего? Есть ли Бог? Есть ли смысл? Что будет, когда меня не станет? Любил ли меня отец? Прощу ли я мать? Где я свернул не туда? И самое страшное — а можно ли ещё что-то изменить, или поезд ушёл?

Эти вопросы не новы. Их задавали люди две тысячи лет назад, задают сегодня и будут задавать всегда, пока человек остаётся человеком. Меняются только декорации: вместо глиняных кувшинов — пластиковые бутылки, вместо костра — экран ноутбука, вместо лошадиной упряжки — пробка на МКАД. Но суть та же. Душа человека болит об одном и том же из века в век.

В современном мире принято думать, что ответы на такие вопросы можно найти быстро. Купить курс. Скачать книгу. Подписаться на блогера. Сходить к психологу за десять сеансов. Заплатить — получить результат. Мы привыкли к скорости и ждём, что просветление тоже придёт по подписке. Но настоящие ответы так не приходят. Они вызревают долго, как мёд в улье, как огород после посадки, как доверие между двумя людьми. Их нельзя ускорить, как нельзя ускорить весну.

Эта история — не учебник и не свод правил. В ней нет схем, тестов и пошаговых инструкций. Это просто рассказ о двух мужчинах, которые встретились в маленьком посёлке на берегу реки. Один — городской, сломленный, потерявший всё, что считал собой. Второй — старик с пасекой, который давно уже разобрался в главном и живёт тихо, по своему закону. Один пришёл с пустыми руками и полным сердцем боли. Другой просто был там, где был, и занимался своим делом — пчёлами, плотницкой работой, чаем по вечерам.

Между ними не случилось ничего внешне громкого. Они не ездили в горы Тибета, не сидели в позе лотоса, не читали мантр. Они чинили крыльцо. Расчищали тропу к реке. Качали мёд. Ловили рыбу. Хоронили соседа. Спасали лодку в грозу. Сидели у костра под звёздами. Молчали, когда нечего было сказать. Говорили, когда приходили правильные слова.

И через это простое, бытовое, земное в Андрее начало происходить то, что не происходило за долгие годы суеты и денег. Он начал слышать себя. Начал видеть других. Начал понимать, что многое из того, чем он жил, было не его, а чужое — навязанное, унаследованное, скопированное. И что под этими наслоениями есть он сам, настоящий, не сломленный, просто заваленный обломками чужих ожиданий, как родник заваливают сухими листьями.

Игнат Петрович, старый пчеловод, не был святым. Он был обычным человеком, прожившим долгую жизнь и потерявшим достаточно, чтобы понять цену тому, что осталось. Он не учил Андрея словами в прямом смысле — он жил рядом, и через эту совместную жизнь, через работу, через простые разговоры за чаем, его ученик постепенно менялся. Так дерево не учит другое дерево расти — оно просто растёт само, и тот, кто рядом, тянется за ним к свету.

Книга построена так, как разворачивалась сама их встреча. Каждая часть начинается с действия, с обычной жизненной сцены — рыбалка, ремонт, поездка на рынок, гроза, болезнь, чужой приезд. Эти сцены не выдуманы, они узнаваемы, они могли случиться с каждым. А следом идёт разговор — тот самый, ночной, тихий, когда один задаёт вопрос, который давно жжёт изнутри, а другой отвечает не учебником, а живым словом, выстраданным собственной жизнью.

Вопросы, которые поднимаются здесь, — те самые, ночные. Почему все ищут предназначение и так редко находят. Почему деньги стали мерой всего и оставляют после себя пустоту. Почему мы носим в себе обиды на родителей всю жизнь и передаём их детям. Что такое прощение и можно ли простить непростительное. Есть ли справедливость в мире, где хорошие умирают рано, а подлецы строят коттеджи. Зачем нужны испытания, болезни, потери. Что такое вера и чем она отличается от религии. Можно ли вернуть любимого человека или это иллюзия. Почему рядом с нами оказываются люди, которые ранят. Что делать, когда страх съедает изнутри. Как благодарить за то, что трудно. Как находить дело по душе. Как зарабатывать честно и не терять себя. Что такое смерть и что после неё. И, может быть, главный вопрос — как прожить эту жизнь так, чтобы в последний день не было стыдно.

Никаких готовых ответов в этой книге нет. Их вообще не бывает — готовых, для всех, на все случаи. Каждый сам проходит свою тропу, и тропа эта у каждого своя. Но есть направление. Есть способ идти. Есть простые опоры, проверенные не одним поколением и не одной разбитой жизнью. О них и пойдёт речь.

Жанр этой книги можно назвать прозой-притчей. Это художественный рассказ, но за каждой сценой стоит мысль, за каждым разговором — урок, который можно унести с собой. Здесь нет мистики ради мистики, нет таинственных откровений и потусторонних голосов. Всё объясняется по-человечески, простыми словами, через узнаваемые ситуации. Старик-пчеловод не колдун и не гуру. Он просто человек, который дольше жил и больше думал. А герой не избранный и не особенный. Он такой же, как мы все, — заблудившийся в своей собственной жизни и ищущий дорогу домой.

Если ты держишь эту книгу в руках, значит, какой-то из ночных вопросов уже постучался и к тебе. Может быть, ты потерял работу или близкого человека. Может быть, наоборот, у тебя всё есть, но внутри пусто и непонятно, ради чего вставать утром. Может быть, ты устал от шума и хочешь услышать тишину. Может быть, ты просто чувствуешь, что живёшь не свою жизнь, а кто-то взял её взаймы и забыл вернуть.

Тогда тебе сюда. Садись поудобнее, налей чаю. Дальше будет осенний дождь, разбитая трасса, холодный дом без печи и человек, который не понимает, зачем он ещё живёт. С этого начинается дорога. С этого начинается всё.

Тропа уже расчищена. Осталось сделать первый шаг.

ЧАСТЬ I. ПРИЕЗД

Глава 1. Дорога в никуда



Дождь начался под Тверью и с тех пор не переставал. Сначала это была лёгкая морось, какую обычно не замечаешь, потом — ровный нудный гул по крыше, а к восьми вечера небо разверзлось всерьёз, и вода полилась так, будто кто-то наверху опрокинул огромное ведро и забыл поднять.

Андрей вёл свою старую «Тойоту» по разбитой федералке, сжимая руль так, что белели костяшки. Дворники не успевали сгребать воду с лобового стекла, фары встречных машин расплывались мутными жёлтыми пятнами и тут же исчезали. Асфальт давно кончился. Под колёсами хрустела щебёнка, ямы шли одна за другой, и каждый раз, когда машина проваливалась в очередную лужу, по днищу глухо били брызги, и сердце на секунду останавливалось.

Сколько он уже едет, Андрей точно не помнил. Десять часов? Двенадцать? Из Москвы он выехал в полдень, заправился под Клином, потом ещё раз — где-то за Тверью, потом сворачивал куда-то на восток, потом ещё севернее, потом просто ехал по навигатору, который последние два часа показывал бессмысленную серую полосу без названий и подписей.

На пассажирском сиденье валялась пустая бутылка из-под минералки и пачка сигарет. Андрей не курил уже двенадцать лет, но три дня назад зашёл в магазин и купил эту пачку, сам не зная зачем. Так и лежала. Открыл, понюхал, снова закрыл. Может, потом.

В Москве он оставил всё. Точнее, всё оставило его. Бизнес, который он строил пятнадцать лет, схлопнулся за пять месяцев. Партнёр, с которым они вместе начинали, тихо вывел деньги

и уехал в Дубай. Банк забрал офис, потом квартиру в Митино, потом машину. Эту «Тойоту» Андрей чудом сохранил — она была оформлена на мать, и до неё кредиторы не дотянулись.

Жена ушла ещё раньше, когда только запахло жареным. Ушла к какому-то юристу, у которого, по её словам, «всё стабильно». Детей у них не было — слава богу, как теперь думал Андрей. Хотя ещё год назад он считал это главной болью.

Друзья отвалились сами, как сухая краска со стен. Те, кто был рядом, пока он мог снять им кабинет в ресторане, перестали брать трубку. Те, кто звонил, звонили требовательно: «Андрюш, ты помнишь, ты обещал...» Он помнил. Он не мог отдать.

Мать звонила каждый день. «Ты ешь, сынок? Ты как спишь?» Он отвечал, что ест и спит, а сам не делал ни того, ни другого толком. Просто лежал на диване в съёмной однушке на окраине и смотрел в потолок, где была трещина в форме реки с притоками.

И вот сегодня, утром, он встал, собрал в багажник сумку с вещами, бросил туда зимнюю куртку, ноутбук, две книги, которые никогда не читал, банку растворимого кофе и фотографию матери в рамке. Закрыл квартиру, спустил ключи в почтовый ящик хозяйке. Сел в машину и поехал.

Куда — он сам толком не знал. Знакомый риелтор пару недель назад сбросил объявление: посёлок на берегу реки, четыре часа от Москвы, дом за восемь тысяч в месяц, можно с задатком, хозяин в Германии. Андрей посмотрел фотографии: серый бревенчатый дом, покосившийся забор, печь, вид на воду. Списался. Перевёл деньги за два месяца вперёд. И забыл. А сегодня вспомнил.

«Четыре часа» давно превратились в десять. Дороги, которые на карте выглядели сплошными линиями, в реальности были разбиты лесовозами в кашу. Один раз он проехал какой-то райцентр с двумя светофорами и закрытой бензоколонкой. Потом был лес. Потом снова лес. Потом поле, на котором стоял брошенный комбайн без колёс. Потом опять лес.

Машина шла тяжело, левое переднее колесо что-то постукивало, а печка дула еле тёплым воздухом. Андрей включал её на полную, но в салоне всё равно было сыро и зябко. Куртка пахла мокрой тряпкой. Очки запотели.

На сорок седьмом километре после поворота на Заречье он въехал в лужу.

Лужа была не лужа — настоящее озеро поперёк дороги, метров пятнадцать в длину. В темноте и под дождём он её просто не разглядел: показалось, обычный разлив, дно близко. Дал газу, чтобы проскочить с разгона, и в середине почувствовал, как машина оседает. Колёса проваливались. Двигатель закашлялся, чихнул раз, другой — и заглох.

Тишина накатила сразу. Только дождь по крыше — ровный, безразличный.

Андрей повернул ключ. Стартер крутил вхолостую. Ещё раз. Ещё. Лампочка на панели мигнула и погасла. Аккумулятор подсел.

— Да вы издеваетесь, — сказал он вслух, в пустой салон.

Голос прозвучал хрипло, чуждо. Он не разговаривал ни с кем со вчерашнего вечера, когда позвонила мать.

Он попробовал ещё раз. Стартер крякнул и замолчал.

Андрей откинулся на сиденье. За окном чернота. Ни одного огонька. Ни встречной машины за последние сорок минут. Дождь, лужа, лес.

Он достал телефон. Сеть пропала ещё под Заречьем — он знал, что её здесь почти нет, но всё равно поднял аппарат повыше, к лобовому стеклу, поводил из стороны в сторону. «Нет сети» — мигало на экране. Десять процентов зарядки. Двадцать одна минута двенадцатого ночи.

Он положил телефон на торпеду. Посмотрел на свои руки. Руки дрожали — не от холода, от чего-то другого. Сжал кулаки.

И ударил по рулю.

— Ну сука же ты! Сука!

Удар, ещё удар. Ладонь заныла. Андрей бил и матерился — не на машину, не на дождь, не на лужу. На всё разом. На партнёра, который сбежал. На жену, которая ушла. На банк, который забрал офис. На отца, который умер шесть лет назад и так ни разу его не похвалил. На мать, которая жалела его так, что от этой жалости становилось хуже. На себя.

— Ну зачем, — сказал он уже тихо, прислонившись лбом к рулю. — Ну зачем я вообще ещё живу.

Слова вышли сами. Он не думал их, не выбирал. Они просто всплыли изнутри, как пузыри из ила.

Зачем.

Он сидел в темноте и слушал, как дождь барабанит по крыше. Внутри было пусто — не больно, не страшно, а именно пусто. Как в комнате, из которой вынесли всю мебель. Эхо собственных мыслей раздавалось в этой пустоте слишком громко.

Он представил, что просидит здесь до утра. Что вода в луже поднимется и зальёт салон. Что его найдут через неделю, через две. Мать будет плакать. Бывшая жена напишет в инстаграме что-нибудь трогательное и наберёт лайков. Партнёр в Дубае даже не узнает.

Эта мысль была не страшной. Она была усталой. Как будто он давно её знал и только сейчас впустил.

Сколько он так просидел, Андрей не понял. Может, час. Может, меньше. Дождь начал стихать. Где-то далеко — он не сразу поверил ушам — мигнул свет. Фара, что ли. Или электричка. Нет, откуда здесь электричка.

Он встрепенулся. Потёр глаза.

— Ну давай, — сказал он машине. — Ну попробуй ещё раз. Один раз.

Повернул ключ.

Стартер кашлянул, потом ещё, потом — будто нехотя — двигатель схватился. Зачихал, задрожал, выровнялся. Лампочки на панели зажглись разом, нагло, словно ничего не было.

Андрей выдохнул так, как не выдыхал давно. Аккуратно, очень аккуратно, на самой малой передаче, он выехал из лужи. Машина шла тяжело, что-то хлюпало под капотом, но шла.

До посёлка оставалось, по навигатору, двадцать два километра. Он проехал их за час с лишним. На повороте у разбитого указателя «Кривцово, 3» он чуть не пропустил съезд — табличку почти сорвало ветром, болталась на одном гвозде.

Посёлок встретил его темнотой. Два десятка домов вдоль одной улицы, и только в одном окне горел жёлтый свет. Где-то лаяла собака — лениво, без злобы, для порядка. Пахло мокрой землёй, дымом печи, прелым листом.

Дом он нашёл по описанию: третий от края, с синими наличниками, рядом старая берёза. Ключ лежал под камнем у крыльца — риелтор предупредил.

Андрей открыл дверь.

В лицо ударило холодом и затхлостью. Так пахнет нежилое — пылью, мышами, сырыми обоями. Он нащупал выключатель. Тусклая лампочка под потолком зажглась, помигала и осталась гореть.

Комната была небольшая. Стол у окна, продавленный диван, печь в углу — холодная, остывшая давно. На печи стоял медный чайник без крышки. В углах висела паутина — настоящая, толстая, в несколько слоёв, как занавески.

Андрей бросил сумку на пол. Сил на то, чтобы топить печь, разбираться с дровами, искать постельное бельё, не было. Совсем не было.

Он стянул куртку, мокрую насквозь, повесил на спинку стула. Подумал, что надо бы переодеться, но не стал. Лёг на диван прямо в одежде, в джинсах и свитере, накрылся курткой сверху.

Лампочку выключать не стал. Свет от неё был жёлтый и слабый, как от лампадки.

Где-то с крыши капало. Не лилось, а именно капало — медленно, размеренно, в подставленную где-то банку или ведро. Кап. Кап. Кап. Андрей прислушался. Промежутки между каплями были почти одинаковые. Как метроном.

Он лежал, смотрел в потолок — побелённый, в трещинах, с тёмным пятном от старого протёка — и слушал, как капает.

Зачем я живу.

Вопрос снова всплыл, тихий и упрямый. В Москве он умел его заглушать. Включал ноутбук, открывал почту, шёл курить на балкон, звонил кому-нибудь. Теперь заглушать было нечем. Тишина в этом доме была такая густая, что её можно было резать ножом.

Он попытался думать о практическом. Завтра нужно растопить печь. Найти воду. Купить продуктов — где-то здесь должен быть магазин. Посмотреть, что с машиной, может, само просохнет, может, надо вытаскивать.

Но мысли не держались. Соскальзывали с этих дел, как пальцы с мокрого стекла, и возвращались туда же, на дно.

Зачем.

Тридцать восемь лет. Половина жизни, если повезёт. Может, больше. Он вспомнил, как ему было двадцать, как он ехал ночью с друзьями в Питер на машине друга, и они орали песни в открытое окно, и он был уверен, что впереди — всё. Что жизнь — это длинная светлая дорога, по которой надо просто идти, и она сама приведёт.

Куда она его привела. В мокрый дом без печи, в посёлок без сети, с пустыми руками, без жены, без денег, без планов.

Кап. Кап. Кап.

Он закрыл глаза. Под веками плыли цветные пятна — усталость. Он подумал, что вот сейчас, наверное, заснёт. Не заснул. Открыл глаза, опять посмотрел в потолок.

И тут пришла странная мысль. Не утешающая, не светлая — просто мысль, как бывает мысль о дожде, когда смотришь в окно.

«Если бы я хотел не жить, я бы здесь не оказался. Я бы остался в Москве на двадцатом этаже. Я приехал куда-то. Значит, что-то во мне ещё хочет».

Мысль была неудобная. Она не вписывалась в ту чёрную яму, в которой он лежал. Андрей попробовал её отогнать. Не отгонялась.

Хорошо, сказал он себе. Допустим. Допустим, что-то ещё хочет. Что тогда.

Ответа не было.

Он повернулся на бок, лицом к стене. Стена была холодная. Обои отклеились в углу, видна дранка, серая, с давними потёками.

«Завтра, — подумал он. — Завтра разберусь. Сейчас просто закрыть глаза».

Дождь почти кончился. Где-то за стеной, за лесом, очень далеко, гудел не то поезд, не то ветер в проводах — низкий, ровный звук, который, если вслушаться, оказывался не звуком, а самой тишиной этого места.

Андрей долго лежал с открытыми глазами. Капля. Ещё капля. Потом, кажется, всё-таки уснул — на минуту, на пять. Снилось что-то путаное: дорога, лужа, лицо отца — почему-то молодое, каким он его не помнил.

Он проснулся под утро, ещё в темноте, с пересохшим горлом. Сел на диване. В доме было так же холодно, так же сыро. За окном начинало сереть.

Андрей провёл ладонью по лицу. Щека была мокрая. Он не понял — от пота, от слёз во сне или просто крыша где-то наверху всё-таки протекала.

Встал. Подошёл к окну. Посмотрел.

За мокрым стеклом был чужой двор, чужой забор, чужая берёза. И где-то там, дальше, за деревьями, угадывалась река — широкая, серая, медленная.

Он не знал ещё, что эту реку ему предстоит увидеть много раз. Что у этой берёзы он будет колоть дрова. Что в этом доме он встретит зиму, потом весну, потом лето. Что в трёх дворах отсюда живёт человек, ради которого, может быть, и стоило проехать вчера тысячу километров под дождём и заглохнуть в той самой луже.

Он просто стоял у окна и смотрел, как сереет рассвет.

Кап. Кап. Кап — с крыши.

Андрей подумал не «зачем я живу», а другое.

«Ладно. Посмотрим».

Он не сказал это вслух. Подумал. И пошёл искать чайник.

Глава 2. Старик с пасеки



Проснулся Андрей от того, что в окно било солнце. После вчерашнего дождя небо вымылось до прозрачной голубизны, и свет падал в комнату полосами, в которых медленно плавала пыль. Он сел на диване, разлепил глаза, не сразу сообразив, где находится. Чужой потолок, чужие обои, холодный воздух, пахнувший мышами и старым деревом. Потом вспомнил: посёлок, дом, дорога, лужа. Всё вчерашнее.

Голова была тяжёлая, во рту сухо. Он спал часа три, не больше, и эти три часа провалились куда-то, как в яму, без снов. Тело ныло от того, что лежал в одежде, на продавленном диване, в неудобной позе. Андрей размял шею, встал, подошёл к окну.

Двор при свете дня выглядел не так уныло, как ночью. Покосившийся забор, заросший крапивой угол, поленница под навесом — почти пустая, дров на поискать колонку. Не может быть, чтобы в посёлке не было воды.

Накинул куртку, ещё влажную со вчерашнего, и вышел.

Утро было свежее, даже холодное. Из рта шёл пар. Андрей поёжился, огляделся. Улица была пуста, только где-то кудахтали куры да на другом конце посёлка тарахтел трактор. Дома стояли вразнобой: одни ухоженные, с крашеными наличниками и спутниковыми тарелками, другие — заброшенные, с заколоченными окнами и провалившимися крышами. Жизнь здесь явно держалась на честном слове.

Колонку он нашёл метрах в ста, на перекрёстке двух улочек, — чугунная, крашеная синим, с гнутым рычагом. Андрей подошёл, поставил ведро, надавил на рычаг. Рычаг ходил легко, слишком легко — впустую. Ни капли. Он надавил ещё, ещё, качал минуту — труба внутри сипела сухим воздухом, и всё. Колонка не работала.

— Да что ж такое, — пробормотал Андрей.

Он постоял, держась за холодный мокрый рычаг, и почувствовал, как поднимается знакомое глухое раздражение. Опять. Всё опять не так, всё против него, даже вода. Простейшая вещь — набрать воды — и та не даётся.

— Сломанная она. Третий месяц как.

Андрей обернулся. Через дорогу, у соседнего двора, стоял старик. Невысокий, кряжистый, в выцветшей телогрейке и резиновых сапогах. На голове — старая кепка, из-под которой выбивались седые волосы. Лицо обветренное, в глубоких морщинах, борода с проседью, коротко стриженная. Но глаза — Андрей это сразу отметил — были ясные, спокойные, светло-серые, и смотрели прямо, без любопытства и без подвоха.

— А где тогда воду берут? — спросил Андрей, не здороваясь.

Старик не обиделся на резкость. Кивнул куда-то в сторону, за дома, к лесу.

— К роднику ходим. Тут недалеко, минут пять. Тропка есть, за огородами. Вода добрая, чистая, не то, что эта ржавая. — Он помолчал, оглядел Андрея. — Ты, стало быть, в Лизкин дом заехал? Который Генка-немец сдаёт?

— Снял, да. Вчера приехал.

— Поздно приехал. Я слышал, машина ночью шла. — Старик не спросил откуда, не полез с расспросами. Просто отметил. — Ну пойдём, покажу родник. Один не сыщешь, тропа заросла.

Андрею не хотелось идти ни с кем. Хотелось набрать воды и вернуться, закрыть дверь, побыть одному. Но старик уже шагал к огородам, не оглядываясь, уверенный, что за ним пойдут. И Андрей пошёл — а что было делать.

Тропа петляла за огородами, мимо покосившихся сараев, мимо зарослей малины и старой яблони, вся усыпанной палыми листьями. После дождя земля раскисла, под ногами хлюпало, глина налипала на ботинки. Старик шёл впереди легко, привычно, ступая там, где потвёрже, а Андрей в своих городских ботинках скользил и оступался.

— Игнат Петрович я, — сказал старик, не оборачиваясь. — Пчёл держу. Вон, пасека моя, за тем забором. Летом гудит — за версту слышать.

— Андрей.

— Из Москвы?

— Из Москвы.

— Оно и видно. — Старик усмехнулся, но беззлобно. — Ботинки у тебя московские. Тут в таких неделю не проходишь.

Андрей промолчал. Разговаривать не хотелось. Он смотрел под ноги, на скользкую тропу, и думал только о том, как бы дойти, набрать воды и вернуться.

Тропа пошла под уклон, к овражку, где между корней деревьев виднелся сруб родника — маленький, в три венца, с деревянной крышкой. И вот тут, на спуске, Андрей и оступился.

Нога в гладком ботинке поехала по мокрой глине, он взмахнул рукой с ведром, попытался удержаться — и подвернул лодыжку, неудачно, всем весом. Острая боль прострелила от щиколотки вверх. Андрей охнул, выронил ведро и сел прямо в грязь, схватившись за ногу.

— А, чёрт!

Боль была сильная, дёргающая. Он попробовал пошевелить ступнёй — отозвалось так, что потемнело в глазах.

Игнат обернулся, вернулся, присел рядом на корточки. Не суетясь, без лишних слов взял ногу Андрея, ощупал лодыжку сухими сильными пальцами. Андрей зашипел.

— Не сломал, — спокойно сказал старик. — Связку потянул. Бывает. По такой тропе в твоих копытах только и падать. — Он поднял ведро, отставил в сторону. — Встать сможешь?

Андрей попробовал встать, наступил на ногу — и чуть снова не сел. Боль отдала такая, что он выругался сквозь зубы.

— Не давай вес, — велел Игнат. — Обопрись на меня.

Он подставил плечо. Андрей помедлил — не любил он опираться на кого-то, не привык, — но выбора не было. Перекинул руку через крепкое стариковское плечо, и они медленно пошли обратно, в гору. Игнат шёл ровно, держал крепко, будто ему было не семьдесят, а сорок. От телогрейки пахло дымом, сеном и ещё чем-то сладковатым — Андрей потом узнает, что это запах воска.

— Ко мне пойдём, — сказал Игнат. — Тут ближе. Ногу глянуть надо, а то к вечеру раздует.

Двор у Игната был другой. Не такой, как у заброшенного Лизкиного дома. Здесь всё было прибрано, пригнано, на своих местах: поленница сложена ровно, под навесом стоял верстак с инструментом, у забора рядами — улья, выкрашенные в голубое, зелёное, жёлтое. Несколько пчёл, несмотря на холод, лениво ползали у летков. Пахло мёдом, деревом и дымом из трубы — печь у старика была протоплена, из окошка тянуло теплом.

Игнат довёл Андрея до крыльца, усадил на лавку, стянул с него ботинок и носок. Лодыжка уже припухла, начинала синеть.

— Сиди, — сказал он и ушёл в дом.

Андрей остался на лавке. Боль понемногу затихала до тупой, ноющей. Он огляделся. Двор жил — основательно, по-хозяйски, не богато, но крепко. На стене сарая висели косы, грабли, какие-то снасти. У крыльца в горшках доцветали поздние бархатцы. Всё говорило о человеке, который знает, что делает, и делает не спеша.

Игнат вернулся с глиняной плошкой. В ней была тёмная, густая, остро пахнущая мазь — травы, мёд, что-то ещё резкое, вроде живицы. Он сел на корточки, набрал мази на пальцы и стал втирать в распухшую лодыжку — осторожно, но крепко, разминая.

— Своя мазь, — сказал он. — На травах, на прополисе. От ушибов, от растяжений первое дело. Завтра ходить будешь, послезавтра и не вспомнишь.

Андрей сидел молча, смотрел, как чужие старые руки мнут его ногу. Странное было чувство. Он давно не помнил, чтобы кто-то о нём заботился — вот так, просто, руками, не ожидая ничего взамен. В Москве всё было за деньги: врачи, массажисты, услуги. А тут — незнакомый старик мажет ему ногу своей мазью на чужом крыльце, и непонятно, зачем ему это.

— Сколько я должен? — спросил Андрей.

Игнат поднял на него глаза. Посмотрел — без обиды, но как-то так, что Андрею стало неловко за свой вопрос.

— За что должен? За мазь травяную? — Он усмехнулся, замотал лодыжку чистой холщовой тряпицей. — Ты, мил человек, видать, в городе совсем отвык, что люди просто так бывают. Не за деньги. Сиди давай. Чайник поставлю.

Он встал, кряхтнув, и ушёл в дом. Андрей остался сидеть, чувствуя, как горят щёки. Не за деньги. Он и правда отвык. В его мире всё имело цену, всё было сделкой, и, если кто-то что-то делал — значит, чего-то хотел взамен. А тут не вписывалось.

Из дома потянуло дымком и запахом разогревающейся печи. Скоро Игнат позвал:

— Заходи, чего на холоде сидеть. Допрыгаешь?

Андрей доскакал на одной ноге, держась за стену. Внутри было тепло, низко, уютно. Бревенчатые стены, печь, стол под клеёнкой, на стене — старые ходики с гирьками, полка с книгами, керосиновая лампа на случай, если свет отключат. В углу — верстак поменьше, с недоделанной рамкой для улья. Всё простое, всё рабочее.

Игнат поставил на стол два стакана в подстаканниках — старых, железнодорожных, — заварил чай из жестяной банки, добавил каких-то трав. Достал из шкафчика банку мёда, тёмного, густого, и отрезал краюху хлеба.

— Пей. С мёдом. После такого утра первое дело — горячего выпить.

Андрей обхватил ладонями горячий стакан. Тепло пошло по пальцам, по рукам. Он отпил — чай был крепкий, душистый, с чем-то медвяным и терпким. Зачерпнул ложкой мёд, попробовал. Мёд был не такой, как магазинный, — живой, с горчинкой, с послевкусием трав.

— Хороший, — сказал он. Само вырвалось.

— Гречишный с разнотравьем. С того года ещё. — Игнат сел напротив, отхлебнул из своего стакана. — Ты, значит, пережить чего приехал? Или насовсем?

Андрей напрягся. Не хотел он рассказывать. Не хотел жалостливых глаз, советов, расспросов.

— Так. На время, — буркнул он. — Дела кое-какие.

Игнат кивнул. И — Андрей это отметил — не стал лезть дальше. Не спросил какие дела, что случилось, почему один, почему среди осени забрался в эту глушь. Просто кивнул, будто этого «на время» ему было достаточно. Будто он и так всё понимал, без слов, и не нуждался в объяснениях.

Они пили чай молча. За окном чирикали воробьи, тикали ходики, потрескивала печь. И в этой тишине Андрею вдруг стало не так тошно, как было всё последнее время. Не легче — но как-то ровнее. Будто тёплый стакан в руках и этот спокойный старик напротив что-то на минуту удержали в нём, не дали провалиться обратно в чёрную яму.

Допив, Андрей засобирался. Игнат дал ему палку — крепкую, гладкую, явно сам выстрогал, — чтобы было на что опираться, налил воды в его ведро из своего бидона.

— Колонку-то когда починят? — спросил Андрей у порога.

— Когда соберутся. Может, к весне. А может, и нет. — Игнат пожал плечами. — Ты к роднику ходи, когда нога отпустит. Тропу я тебе покажу. Вода там — лучше всякой колонки.

Андрей кивнул. Постоял на пороге, опираясь на палку, с ведром воды в руке. Что-то надо было сказать. Раньше он бы просто ушёл — заплатил бы и ушёл. Но платить было не за что, а уйти просто так не получалось.

— Спасибо, — сказал он наконец. Глухо, неловко, но сказал. — За ногу. И вообще.

Игнат посмотрел на него своими светлыми глазами, и в уголках их собрались морщинки — то ли усмешка, то ли что-то теплее.

— Не на чем, Андрей. Иди, отлѣживай ногу. Понадобится чего — заходи. Я тут, никуда не деваюсь.

Андрей похромал к себе через двор, опираясь на палку, с полным ведром. Нога ныла, но уже терпимо. Солнце поднялось выше, туман над рекой растаял, и вода блестела по-осеннему ярко.

У калитки он обернулся. Старик ещё стоял на крыльце, смотрел вслед — без любопытства, спокойно. Потом повернулся и пошёл к ульям, к своим пчѣлам.

Андрей дошёл до дома, поставил ведро на стол. Сел на лавку, вытянул больную ногу. В доме было всё так же холодно и пусто. Но что-то малое, незаметное, уже сдвинулось. Будто в глухой стене, которой он отгородился от всех, появилась тонкая трещинка — крошечная, в волос толщиной. Через неё пока не проходил свет. Но она была.

Он сам этого ещё не понимал. Просто сидел, грел руки о стакан, который машинально принёс с собой от Игната, и смотрел в окно на реку.

«Спасибо». Первое слово, сказанное им здесь искренне. Первое зерно, упавшее в землю. До того, как оно прорастёт, было ещё далеко.

Глава 3. Покусанный пчёлами



Прошло два дня. Нога у Андрея и правда зажила почти полностью — старикова мазь сделала своё дело. К утру третьего дня он уже ступал на ступню нормально, только если опереться резко, дёргалось в лодыжке тупой памятью о падении. Палку, которую дал Игнат, Андрей оставил у двери, прислонив к косяку, — не выбросил, хотя в городе сразу бы выбросил такую кривую корягу.

Печь он за это время кое-как растопил. Дров хватило на одну вечернюю топку и одну утреннюю, потом пришлось колоть самому из старых жердей, что валялись у сарая. Топор он нашёл там же — ржавый, с расколотым топориком, но рубить им было можно. Бил он неумело, мимо, по сучкам, и через полчаса ладони горели, а спина ныла так, что хотелось лечь. Городские руки. Городская спина. Городская всё.

С едой было хуже. В рюкзаке, который он привёз из Москвы, оказались крекеры, пачка макарон, банка тушёнки и тот самый растворимый кофе. Магазин в посёлке открывался два раза в неделю — в среду и субботу, об этом ему сказала соседка через два дома, румяная женщина в платке, выглянувшая из калитки на стук топора. Сегодня была пятница. До субботы Андрей рассчитывал дожить на макаронах с тушёнкой.

К полудню солнце пригрело, ветер стих, и в воздухе появилось то прозрачное золотое осеннее тепло, которое случается раз или два в октябре и стоит весь иной год. Андрей вышел во двор, постоял, прислонившись к стене. Делать ему было нечего. Совсем нечего.

В Москве он не помнил, когда у него было нечего делать. Даже когда бизнес уже шёл ко дну, дел было — переговоры, юристы, отписки, звонки кредиторам, попытки найти инвестора, ещё попытки, ещё. Расписание держало его на плаву. Когда расписание кончилось, он лёг на

диван и пролежал четыре месяца, и тогда тоже не было «нечего» — была чёрная вязкая занятость собственными мыслями, тяжелее любых переговоров.

А тут — пусто. Ни телефона, ни ноутбука (он его так и не открыл со вчера), ни сети. Только двор, забор, крапива, серое осеннее небо, и где-то по соседству — ровный, низкий, далёкий гул. Андрей прислушался. Гул шёл со стороны Игнатово двора. Пчёлы.

Он, сам не зная зачем, пошёл туда.

Калитка у Игната была не заперта. Андрей толкнул её, шагнул внутрь. Самого старика во дворе не было — может, ушёл к роднику, может, в дом. Из трубы шёл лёгкий дымок, печь топилась слабо, по-дневному. Андрей постоял, подождал — никто не вышел. Тогда он пошёл вглубь двора, к ульям.

Ульи стояли в ряд, выкрашенные в разные цвета — голубой, жёлтый, зелёный, белый. Десятка полтора. Возле летков копошились пчёлы, ползали, садились, взлетали. Андрей подошёл ближе. Сладкий тёплый запах исходил от ульев — мёд, воск, что-то ещё, прелое и живое.

Он остановился в двух шагах от ближнего, голубого. Пчёлы летали мимо его лица, садились на рукав куртки, ползали по ткани и снова взлетали. Не жалили. Андрей замер, не дышал. Пчёл он не боялся отродясь, потому что и не сталкивался с ними никогда — в Москве пчёлы есть разве что на гречишном поле, а гречишных полей в Москве нет.

Странно, подумал он. Их тысячи здесь. И каждая знает, что ей делать. Никто не приказывает. Никто не пишет регламент. А улей живёт. Идеально живёт.

Он наклонился ниже, к летку. Пчёлы выходили парами, тройками, поднимались в воздух и улетали куда-то за дом, к лесу. Другие возвращались — с обножкой на лапках, тяжёлые, садились на доску и заползали внутрь. Конвейер. Цех. Производство без бригадира.

Любопытство, которое в нём дремало с самого детства и которое последние годы было задавлено цифрами и сделками, шевельнулось в груди. Андрею захотелось заглянуть внутрь. Просто посмотреть. Что там, в этом деревянном ящике, что они там делают, как устроено.

Он знал, что нельзя. Знал смутно, по каким-то книжкам из школьных лет, что пчёл просто так не тревожат, что для этого нужна сетка, дымарь, костюм. Но руки уже сами потянулись к крышке. Только приподниму, подумал он. На пальчик. Только взгляну — и тут же обратно.

Крышка оказалась тяжелее, чем он думал. Деревянная, плотная, прикипевшая к корпусу. Он подцепил её снизу, нажал — она поддалась с глухим скрипом, и Андрей приподнял её сантиметров на пять.

Из щели хлынул горячий медовый воздух. И вместе с ним — гул. Не тот ровный, что был снаружи. Другой. Высокий, тревожный, нарастающий.

Андрей не успел даже понять, что произошло. Из щели вырвался плотный, как дым, рой. В лицо ему ударило, в шею, в уши. Он отшатнулся, выронил крышку — она бухнула обратно с грохотом, и от этого грохота гул стал ещё громче. Пчёлы были везде. На лбу, на скулах, в волосах. Жгло сразу в нескольких местах — резко, остро, как иголкой.

— А-а-а!

Он замахал руками, попятился, наступил на что-то и чуть не упал. Махнул сильнее — и от этого ещё больше пчёл взвилось в воздух вокруг него. Одна укусила в шею, под подбородком. Другая — в верхнюю губу. Третья запуталась в волосах и жужжала там злобно, тыкаясь.

— Да отстаньте! Да чтоб вас!

Он бежал — точнее, метался — по двору, размахивая руками, скрючив лицо. Боль шла волнами, лицо начинало гореть. Он не понимал куда деться, рой был с ним, не отставал.

Из дома выскочил Игнат. Без суеты, но быстро — в руке у него уже был дымарь, маленький жестяной, с раздуваемым мехом. Он шёл прямо на Андрея, на ходу качая мех, и из носика дымаря шёл густой белый дым с запахом гнилушки.

— Стой. Стой, не маши, говорю.

Андрей не мог стоять. Он трясся, дёргался, отмахивался.

— Руки опусти! — рявкнул Игнат. — Опусти руки, говорю!

В этом окрике было такое, что Андрей послушался. Опустил руки, замер, согнувшись, зажмурился. Игнат подошёл вплотную, окутал его дымом — голову, плечи, грудь. Дым шёл густо, едко, пах сосной и чем-то прелым. Пчёлы, попавшие в облако, посыпались на землю, ползали ошалело, поднимались тяжело и улетали прочь.

— Иди за мной. Спокойно. Не маши. Спокойно, кому говорю.

Старик пошёл к дому, продолжая обмахивать Андрея дымом. Андрей семенил за ним согнувшись, прикрыв лицо ладонями. На крыльце Игнат напоследок ещё раз окурил его как следует и завёл внутрь.

— Сядь. Дай гляну.

Андрей плюхнулся на лавку у стола. Лицо горело. Верхняя губа уже распухла так, что было трудно говорить. Под глазом дёргалось. Шею жгло, под подбородком вспухал желвак. Он попробовал утереть пот со лба, ладонь была мокрая и липкая.

Игнат взял его за подбородок, повернул лицо к свету, к окну. Осмотрел, как доктор. Сухие пальцы аккуратно прошлись по щеке, по виску.

— Семь, восемь... девять штук, — посчитал он. — Так. Сиди.

Он вышел во двор, вернулся через минуту с пучком широких зелёных листьев — Андрей узнал подорожник, тот самый, которым в детстве мать прикладывала ему к разбитой коленке. Игнат сел напротив, размял лист в пальцах, выжал зелёный сок, наложил на укусы. Сначала на лоб, потом на скулу, потом на шею. Холодок прошёл по коже, дёрганье немного стихло.

— Жала повынимать надо. Сиди тихо.

Игнат достал из ящика тонкий пинцет, склонился над лицом Андрея. Работал быстро, точно. Чик — и крошечное, почти не видное жало летит на пол. Чик — другое. Андрей сидел, зажмурившись, чувствуя на щеке тёплое дыхание старика и запах табака от его рук, хотя Игнат не курил.

— Девять, — сказал Игнат, закончив. — Девять штук на тебе сидело. И крышку сам сронил, ещё рой подзадорил. Повезло, что ты не аллергик. Был бы — сейчас уже дышать тяжело было бы.

Он встал, принёс из сеней холщовую тряпку с куском льда — где он его взял, Андрей не понял, — и приложил к самой распухшей щеке. Лёд жёг и одновременно успокаивал. Андрей сидел молча, шумно дыша через нос. Говорить он не мог — губа не слушалась.

Игнат поставил чайник, неспешно достал кружки, мёд, сухие травы. Не упрекал, не качал головой, не говорил «я же предупреждал» — потому что и не предупреждал. Просто двигался по своей кухне, как ходил по ней каждый день.

Через минут пятнадцать Андрей пробормотал распухшим ртом:

— Извини. За улей. Я не подумал.

Игнат поставил перед ним кружку с тёплым чаем, в который положил две ложки мёда. Сел напротив, сложил руки на столе. Только теперь усмехнулся — не зло, не насмешливо, а как-то по-доброму, в усы.

— Извиняться, мил человек, надо перед пчёлами. Это ты к ним в дом без спроса полез. — Он отхлебнул из своей кружки. — Я-то что. Я постоянно лезу. Только знаю как.

Андрей кивнул. Хотел сказать что-то ещё — не нашёл слов. Левый глаз начинал заплывать, мир в нём сужался, как в щёлочку.

Игнат помолчал. Потом сказал — не учительски, а просто, как говорят о погоде:

— Лезешь к делу, которого не знаешь, — вот и больно. Пчела порядок любит. У неё в улье свой устав, свои часовые, своя работа. Кто пришёл без понятия, без дыма, без покрова — тот враг. Они тебя не за злость кусали. За незнание.

Слова прошли мимо распухшего лица и легли куда-то глубже, не в уши, а ниже, в грудь. Андрей сидел и грел руки о кружку. Лицо болело. Самолюбие болело ещё сильнее. Он чув-

ствовал себя дурак дураком — взрослый мужик, тридцать восемь лет, бывший владелец бизнеса с оборотом в сотни миллионов, сидит с распухшей губой и листом подорожника на лбу, потому что от скуки полез в чужой улей.

— Я в Москве, — начал он, и сам удивился, что заговорил, — я в Москве так же лез. Не в улей. В дело. В чужое дело, в котором ничего не понимал. Партнёр говорил — давай, тема горит, миллионы будут. Я и полез. Без дыма, без сетки. Думал, разберусь по ходу.

Он замолчал. Игнат не торопил.

— Ну вот и разобрался, — закончил Андрей.

Старик молча подвинул ему банку с мёдом.

— Ешь. Мёд при укусах хорошо. И при дури тоже помогает, говорят. — Глаза у него снова смеялись.

Андрей через распухшие губы тоже попробовал улыбнуться. Получилось криво, перекошено, но получилось. И от этой кривой улыбки внутри что-то отпустило — как будто маленький узелок развязался.

Они сидели в тёплой кухне, пили чай. За окном гудела пасека — снова ровно, мирно, как ничего и не было. Рой успокоился. Пчёлы вернулись к своим делам — носить, складывать, запечатывать, охранять. Каждая знала свою работу и не сомневалась в ней.

А он — он сидел тут с распухшим лицом и не знал ни одной своей работы. Ни одной. Эта мысль пришла к Андрею не как обличение, а как простой ясный факт, как если бы он посмотрел в зеркало и увидел, что небрит.

— Игнат Петрович, — сказал он, помедлив. — А как они... ну, эти. Откуда они знают, что им делать?

Старик посмотрел на него внимательно. Понял, что вопрос не пустой, не про пчёл одних.

— А это, Андрюш, — он назвал его так, по-домашнему, — это разговор не на одну кружку чая. Это, считай, на всю жизнь разговор. Налить ещё?

Андрей кивнул. И протянул свою кружку.

Лицо болело. Но злости на пчёл уже не было. Была какая-то странная, давно забытая благодарность — за то, что укусили. За то, что напомнили: в этом мире есть порядок, к которому нельзя лезть с разбегу. Есть вещи, в которых надо сначала понять, а потом уже трогать.

Может, не только с пчёлами.

Старик налил.

Глава 4. Почему все ищут предназначение?



Чай остывал во второй раз. Андрей сидел, прижав к щеке тающий лёд, завернутый в холстину, и смотрел через окно на пасеку. Опухоль уже взялась как следует: левый глаз заплыл наполовину, верхняя губа торчала вперёд так, что собственный голос звучал чужим и шепелявым. Но боль отступила в тупую ровную ноту, с которой можно было жить и даже думать.

А думать хотелось. Вопрос, который он задал — откуда они знают, что им делать, — продолжал сидеть в нём, как заноза. Не про пчёл. Про себя.

Игнат не спешил. Подкинул в печь полено, помешал угли кочергой, сел напротив, обхватил кружку ладонями. Помолчал — он вообще, как Андрей уже заметил, говорил не сразу, а будто давал словам отстояться, как чаю в заварнике.

— Гудят, — сказал наконец старик, кивнув на окно. — Слышишь? Ровно гудят. Это они уже забыли, что ты к ним лазил. У них обиды нет. Отработали тревогу — и дальше за дело.

— Откуда они знают это дело? — Андрей повторил вопрос упрямо, через распухшую губу. — Ну вот серьёзно. Никто их не учил. Из яйца вылупилась — и сразу знает: вот это нести, это складывать, это охранять. А я... — он осёкся. — Мне тридцать восемь. И я не знаю, что мне делать. Вообще. С самого начала не знал, а думал, что знаю.

Игнат отхлебнул чаю.

— У пчелы просто, — сказал он. — У неё нет выбора. Она родилась в улье, и улей за неё всё решил. Молодая — чистит соты да кормит детву. Постарше — строит, мёд принимает. Совсем взрослая — на вылет, за взятком. Помрёт через сорок дней, отработав своё. И ни разу за эти сорок дней не спросит себя: а моё ли это? а не зря ли я живу? а вот у соседней пчелы взятки слаще, чего это я хуже?

Он усмехнулся.

— Не мучается она. Потому и кажется нам, что она знает своё дело. А она не знает. Она его просто делает. Знать и делать — разные вещи.

Андрей опустил лёд на стол.

— То есть мне завидовать нечему.

— Завидовать пчеле? — Игнат покачал головой. — Это всё равно что камню завидовать, что он спокойно лежит. Камень спокоен оттого, что мёртвый. А ты живой, тебе положено метаться. Человек тем и отличается, Андрюш, что ему дали выбор. А выбор — это всегда мука. Где выбор, там и сомнение. Где сомнение, там и страх ошибиться. Пчела не ошибается, потому что ей нечем. А ты можешь ошибиться. И боишься. И правильно боишься — потому жизнь твоя и стоит дороже пчелиной.

Печь потрескивала. За окном тянулся ровный медовый гул.

— Я вот что не пойму, — Андрей повернулся к нему здоровой стороной лица. — Все же ищут это самое... предназначение. Книжки пишут. Курсы продают. «Найди своё дело, найди миссию». Я сам сколько денег спустил на эти семинары — бизнес-коучи, тренинги, «раскрой свой потенциал». Сидишь в зале, тебе со сцены кричат, ты весь горишь — а вышел, неделя прошла, и снова пусто. Почему так? Почему все ищут и почти никто не находит?

Игнат долго молчал. Потом встал, подошёл к окну, постоял спиной к Андрею, глядя на улы.

— А потому, — сказал он, не оборачиваясь, — что ищут не там и не то. Ищут громкое. Большое. Чтоб с трибуны, чтоб все ахнули. «Предназначение», «миссия» — слова-то какие надутые. Будто человеку непременно надо мир спасти или великое что сотворить, а иначе и жил зря.

Он обернулся.

— А я тебе так скажу. Предназначение — это не то, что ты найдёшь где-то снаружи, как гриб в лесу. Его не находят. Его делают. Вот этими руками. — Он показал свои ладони — широкие, в трещинах, с навеки въевшейся тёмной каёмкой под ногтями. — День за днём. Понемногу. Без трибуны.

Андрей слушал, не перебивая.

— Я ведь не пчеловодом родился, — продолжал Игнат, садясь обратно. — Я инженер. Тридцать лет на заводе, в Туле. Турбины проектировал. Хороший был инженер, грамотный. И тоже всё думал — то ли я делаю? Та ли это жизнь? Чертежи, планёрки, премии, выговоры. Казалось — пустое, бумажки. А вышел на пенсию, завод развалился, переехал сюда, к покойной тёще в дом, от тоски пчёл завёл — соседский дед научил. И только тут, к шестидесяти годам, понял.

— Что понял?

— Что не дело красит человека и не человек дело. А как он его делает. — Игнат сказал это просто, без нажима, будто давно знакомую вещь. — Турбину я чертил честно — и пчёл вожу честно. Это во мне одно и то же. Это и есть моё. Не турбина и не пчела. А вот это — делать руками хорошо то, что делаешь. Кто этого в себе не нашёл, тот хоть сто профессий смени — везде будет пусто. А кто нашёл — тому хоть сторожем, хоть министром, везде будет дело по душе.

Андрей сидел молча. Что-то в нём упиралось — городское, привычное, выученное на тех самых тренингах.

— Но люди же разные, — сказал он. — Один прирождённый врач, другой — художник, третий — вот пчеловод. Есть же талант, призвание. Нельзя же всё сводить к «делай хорошо что попало».

— А я и не свожу. — Игнат не обиделся. — Талант есть, верно. Кому что дано. Один к дереву руки имеет, другой, к слову, третий к людям. Это есть. Только знаешь, в чём беда твоих коучей? Они говорят: найди в себе уникальное, особенное, неповторимое — и в нём

твое счастье. А человек ищет в себе это особенное, не находит — он же обыкновенный, как все, — и думает: значит, я пустой, бракованный, не нашёл своего. И мучается.

Старик подался вперёд.

— А правда простая. Большинству людей не дано великого таланта. Большинство — обыкновенные. И в этом нет беды. Беда не в том, что ты обыкновенный. Беда — если ты обыкновенное своё дело делаешь спустя рукава, в полноги, в полсилы, всё поглядывая на сторону: где послаще, где побольше платят, где люди завидуют. Вот тогда и пусто. А делай ты любое дело в полную силу, со вниманием, с уважением — и оно тебя само вытянет, само наполнит. Не потому, что оно особенное. А потому что ты в него себя вложил.

— Значит, можно прожить всю жизнь не на своём месте? — тихо спросил Андрей. — Я ведь, кажется, так и прожил. Пятнадцать лет строил бизнес, который мне был чужой. Деньги, цифры, понты. Я в это не верил никогда. Я просто... бежал. Все бежали, и я бежал.

Игнат кивнул, не торопясь.

— Может, и не на своём. А может, и на своём — только не понял этого. Откуда тебе знать, для чего тебе те пятнадцать лет дадены? Может, чтоб ты сейчас тут сидел с распухшей мордой и себя об этом спросил. Дерево, чтоб глубоко корень пустить, должно сперва ветром помотаться. Без ветра корня не будет. Свалится при первой буре.

Андрей усмехнулся, потрогал губу.

— Меня вон как помотало.

— Значит, корень глубокий пустишь, — спокойно сказал Игнат. — Если не сломаешься.

Они помолчали. Лёд на столе совсем растаял, холстина промокла. За окном пчёлы заходили в ульи — день клонился к вечеру, тянуло прохладой.

— А как понять-то, — спросил Андрей, — что это твоё? Вот пока делаешь — как почувствовать?

— А ты не понять старайся, а делать. — Игнат поднялся, забрал кружки. — Понимание потом придёт, само, задним числом. Я тебе так скажу: своё дело — это не то, от чего ты прыгаешь до потолка. Это то, после чего ты вечером устал, а на душе ровно. Не пусто, а ровно. Лёг — и не точит тебя, что день прошёл зря. Вот и весь твой компас. Не радость ищи — спокойствие. Радость обманет, она и от вина бывает, и от выигрыша. А спокойствие после честного труда — оно не обманывает.

Он сполоснул кружки, поставил на полку.

— Завтра вон тропу к реке пойдём расчищать, заросла совсем. Хочешь — пошли со мной. Топором помашешь, пилой. К вечеру и проверишь, что я про усталость да про спокойствие говорю. А то всё словами да словами. Слова — они как пустые соты. Красивые, а мёду нет. Мёд — он в деле.

Андрей посмотрел на старика. На его спокойное обветренное лицо, на руки, на эту простую кухню, где всё было на своём месте и всё чему-то служило. И поймал себя на том, что ему хочется завтра пойти. Махать топором. Хотя ещё неделю назад он не мог заставить себя встать с дивана.

— Пойду, — сказал он. — Если морда к утру откроется.

— Откроется. — Игнат улыбнулся. — Мазь дам, к утру спадёт. А с пчёлами вы теперь, считай, познакомились. Они тебя поместили. Свой будешь.

Андрей встал, поблагодарил, пошёл к двери. На пороге задержался.

— Игнат Петрович. А вы сами-то — нашли? Своё?

Старик стоял у печи, спиной к закатному окну, и лицо его было в тени.

— Я, Андрюш, не искал, — сказал он. — Я жил да работал. А оно само нашлось. Так всегда и бывает. Кто гонится за своим предназначением — тот его не догонит, оно от гонки убегает. А кто просто живёт, по совести, да делает что должно — к тому оно само приходит и садится рядом. Тихо. Как вот пчела на руку садится, когда ты её не ловишь.

Андрей вышел в синеющий вечер. Над посёлком стояла тишина, пахло дымом из труб, где-то мычала корова. Он пошёл к своему холодному дому через два двора и думал, что завтра у него есть на утро дело. Простое, ясное, не своё пока, чужое — расчистить старику тропу к реке.

И от этой мысли — не от великой, а от самой простой — внутри было ровнее, чем от всех тренингов, на которые он спустил когда-то столько денег.

Дома он растопил печь — с третьей спички, но растопил, — поставил греться воду и сел у огня. Лицо саднило, но он почти не замечал. Смотрел в пламя и думал про пчелу, которая живёт сорок дней и ни разу не спрашивает, зачем.

«А может, и хорошо, что я спрашиваю, — подумал он. — Может, в этом и разница. Пчела не спросит. А я — человек. Мне дано спросить. Значит, дано и ответить».

Ответа пока не было. Но был вопрос — настоящий, свой, не вычитанный с чужой обложки. И завтра было утро. И тропа.

Андрей лёг и в эту ночь уснул быстро.

Глава 5. Расчистка тропы



Игнат пришёл за ним в седьмом часу, ещё в сумерках. Постучал в окно — не в дверь, а именно в окно, костяшкой пальца, негромко, два раза. Андрей вскинулся на диване, не сразу поняв, где он и что за стук. За стеклом темнела стариковская фигура в телогрейке. Игнат увидел, что он проснулся, кивнул и пошёл к крыльцу.

Андрей сел, провёл ладонью по лицу. Опухоль и правда спала за ночь — мазь, которую старик дал на дорогу, сделала своё. Губа была ещё толстоватой, и под левым глазом отливало синим, но мир в обоих глазах стоял уже ровно, без щёлки. Он натянул свитер, сунул ноги в ботинки и вышел.

— На голодный желудок не пойдёшь, — сказал Игнат с порога. Протянул узелок: краюха чёрного хлеба, кусок сала в бумаге, луковица. — Завтракай. Я у себя инструмент собрал, через четверть часа двинемся. Оденься потеплее. И обуйся во что не жалко.

— У меня других-то и нет.

— Тогда вот, — Игнат поставил у крыльца резиновые сапоги, явно свои запасные, — примерь. Великоваты будут, портянок намотаешь. Я тебе ветошки принёс.

Андрей примерил. Сапоги были тяжёлые, неудобные, пахли резиной и старой кожей. Но в них ноги хотя бы не промокнули с первого шага.

Завтракал он стоя, у печки, торопясь. Хлеб с салом и луковицей — еда, которую он не ел, наверное, лет двадцать. Раньше показалось бы крестьянской грубостью, сейчас оказалось вкусным до удивления. Сало солёное, с прожилками, хлеб плотный, лук жгучий и сладкий разом. Андрей съел всё и удивился, что хочется ещё.

Вышли они, когда над посёлком уже начало светлеть. Небо было серое, ровное, без вчерашней голубизны, но и без дождя — то самое осеннее «никакое» небо, при котором лучше

всего работается. Воздух стоял неподвижный, холодный, пахло прелым листом и дымом — где-то уже топили печи.

Игнат нёс на плече двуручную пилу, аккуратно завернутую в мешковину по зубьям. На поясе у него висел топор в чехле, в руке — большой секатор и сложенная мотыга. Андрею он дал свой лёгкий топор, моток верёвки и брезентовые рукавицы.

— Рукавицы не снимай, — сказал старик. — Хотя и не привык. Через час сними — будут ладони как у мясника. С рукавицами хоть мозолей наживёшь поменьше. Хотя пара-другая всё равно вылезет, не миновать.

Тропа, которую им предстояло расчищать, начиналась за огородами с другой стороны посёлка, не той, где родник. Шла она через старый запущенный сад, потом через ольховник, потом ныряла в ельник и выходила к реке, к небольшому затону, где у Игната когда-то стоял мосточек и где он по летам ставил с лодки сети.

— Лет десять не ходил, — рассказывал Игнат, шагая впереди. — Сначала ноги шли реже, потом и вовсе перестал. А тропа за это время и заплыла. Сначала малиной, потом ольхой, потом и берёзка повылазила. Берёзка эта, ласковая на вид, на тропе хуже бурьяна. Год — прутик. Два — палка. Пять — деревце с тебя ростом. Думаешь, никого нет, само рассосётся? Нет, не само. Само только зарастает. Расчищается — руками.

Они подошли к началу тропы. Андрей огляделся — и ничего похожего на тропу не увидел. Сплошные заросли, по пояс и по грудь: пожухлая крапива, малиновые плети с колючками, какие-то жёлтые сухие зонтики, и из этого всего поднимались молодые ольхи и берёзы — тонкие, гибкие, в палец и в два толщиной.

— А где тропа-то? — спросил он растерянно.

— Под ногами, Андрюш. — Игнат усмехнулся. — Где ж ей быть. Просто её сверху накрыло. Расчистим — увидишь.

Старик скинул телогрейку, повесил на сук, остался в простой рубаше и жилетке. Растёр ладони, поплевал на них по старой привычке, взял секатор.

— Зачин такой. Я секатором сначала иду, кусты режу — малину, шиповник, что помельче. Ты за мной с топориком — пеньки подрубаешь, ровняешь под землю, чтоб не торчало, не цеплялось. Берёзки и ольху, что потолще, — пилой возьмём, в две руки. Корчевать не будем, до весны постоит, корни перепреют. Понял?

— Понял.

— Не торопись. Главное — не торопись. Усердно — да, торопко — нет. Тропа за день не вернётся, и за два не вернётся. Сколько успеем, столько и нашей. Завтра ещё придём.

Игнат пошёл первым. Секатор у него работал размеренно: чик-чик, чик-чик, ровно, как метроном. Кусты ложились по обе стороны. Андрей смотрел минуту, как тот движется, и взялся за топор.

Первый пенёк, оставшийся после старика, оказался коварным. Андрей замахнулся, ударил — и топор глухо отскочил, едва оставив зарубку. Снова. Снова. На пятом ударе пенёк наконец перерубило, но плечо уже заныло, а в ладонь, несмотря на рукавицу, что-то впилося.

— Не плечом бей, — сказал Игнат, не оглядываясь. — Бей кистью. Топор сам падает, ты только направление дай и в самом конце дёрни. Не дрова колешь — поросль рубишь. Силы беречь надо, день длинный.

Андрей попробовал так. Получилось не сразу. Кисть отвыкла, не понимала, как это — направить и не давить. Но к десятому пеньку он что-то нащупал, какой-то ритм, и руке стало легче. Топор пошёл точнее, удары — короче.

Они продвигались медленно. За первый час прошли метров пятнадцать. Тропа за их спинами открывалась — узкая, прибитая, со следами старого хождения. Андрею стало видно, что под бурьяном земля и правда уплотнена, что когда-то здесь ходили часто, и эта земля помнит шаги.

К восьми часам солнце пробилось сквозь серую муть. Стало теплее. Андрей снял свитер, остался в одной рубашке. По лбу уже катился пот, спина была мокрая. Не от мороза — от работы. Он давно забыл этот пот: не спортзальный, выцеженный за деньги под музыку, а простой, рабочий, без понтов.

Первая мозоль вылезла у основания большого пальца — там, где рукоять топора давила сильнее. Он почувствовал, что натёр, ещё минут пятнадцать поработал, потом снял рукавицу, посмотрел. Белый пузырь, налитый, противный. Он показал Игнату.

— Это нормально, — спокойно сказал старик. — Не вскрывай, кожа сама подсохнет. Сменяй руки. То правой ведущей бей, то левой. Распределяй.

— Я левой не умею.

— Так научишься. Не велика наука.

К десяти часам им встретила поваленная берёза. Лежала она поперёк тропы, толстая, в обхват, с уже подгнившей корой, но сердцевина была ещё крепкая. Игнат осмотрел её, обошёл, постучал обухом по стволу.

— Пилить будем. Разделим на три части, в сторону скатим. Бери пилу.

Двуручная пила была старая, с длинными зубьями, разведёнными ровно, заточенными недавно. Они встали по обе стороны ствола, на колени. Игнат показал, как поставить полотно, как начать пропили — чтоб не зажимало, чтоб сам ход.

— Не дави. Тяни на себя — я отпускаю. Я тяну — ты отпускаешь. Не помогай, когда я тяну, а то ход потеряем. Просто отдавай. Дыши ровно.

Они начали. Первые движения шли несогласно: Андрей то поддавал, то задерживал, пила скрипела и заедала. Игнат не ругался, только молча выравнивал ход. И постепенно у них пошло. Раз-два, раз-два. Опилки белой шапкой росли под бревном. Сначала медленно, потом — Андрей и сам не заметил, как — быстрее. Они дышали в такт, тянули в такт, и пила пошла легко, с тем своим особенным поющим звуком, который выдают только хорошо разведённые, согласные с обоими работниками пилы.

— Вот, — сказал Игнат, когда первый пропили был сделан до конца и кусок ствола глухо упал в траву. — Слышишь? Когда вдвоём в такт идёт — работа сама делается. А порознь — оба устанете и ничего не напилите.

Андрей кивнул. Кивнул не из вежливости — он и правда это понял только что, всем телом. Что значит «в такт». Он много лет «работал в команде», у него были менеджеры, отделы, тимбилдинги, и он мог бы прочитать на эту тему лекцию. А вот что такое настоящее «в такт» — он узнал на этом бревне, через ручку пилы, в десять часов осеннего утра, с мозолью на ладони.

Они перепилили ствол ещё в двух местах, скатили куски на обочину. Берёзу можно будет потом распиливать на дрова — Игнат сказал, что заберёт после, когда подсохнет.

К полудню солнце поднялось высоко, и неожиданно стало почти жарко — то самое октябрьское «бабье», что иногда обманывает в эти дни. Они сели передохнуть на сваленный ствол. Игнат развернул узелок: тот же хлеб, то же сало, два варёных яйца, луковица, флягу с холодным травяным чаем.

Андрей ел молча. Руки тряслись от усталости, ладони горели, спина гудела. Но это была другая усталость — не та московская, разъедающая, после которой хочется забыть, что был день. Эта усталость стояла в теле ровно, как наполненная чашка, и не расплёскивалась.

— Сколько ещё? — спросил он, оглядываясь.

— Метров сто пятьдесят, наверно, — прикинул Игнат. — Где густо, где пореже. До реки сегодня дойдём, если не сядем на чай каждые десять шагов. — Он подмигнул. — Как ты вообще?

— Жив.

— И слава богу. Ладони покажи.

Андрей показал. На правой уже две мозоли, на левой одна. Игнат покивал, достал из кармана маленькую жестяную баночку, открыл, поддел пальцем зеленовато-жёлтую мазь.

— Прополис с воском. Намажь, на ночь не сходит. Завтра пойдёшь дальше, как ни в чём.

Андрей мазал ладони и думал, что у этого старика на любой случай есть мазь. На ногу, на лицо, на руки. Будто у него на всё придумано — и придумано не им, а кем-то задолго до него, и он только хранит и пользуется.

После обеда работа пошла труднее. Кусты были толще, корни цеплялись. Они вышли к месту, где тропу перерезала старая лесная дорога — широкая, в две колеи, давно заросшая, с бурьяном по пояс и молодыми соснами посередине. Дорога эта уходила в одну сторону к посёлку, в другую — куда-то вглубь леса, и Андрей даже не сразу понял, что это дорога, а не просто прогалина.

— Что это? — спросил он, опершись на топор.

Игнат разогнулся, тоже посмотрел.

— Это, Андрюш, лесовозная. Лет тридцать тому здесь лес вывозили. По ней «уралы» ходили, гружёные, ревели на всю округу. Сейчас, видишь, заросла. Никто ею больше не ездит. Заброшена.

Андрей постоял, глядя на эту мёртвую колею. Странное было ощущение. Видно, что здесь когда-то шла настоящая жизнь — широкая, проезжая, с гулом моторов, с людьми, с делом. И вот — пусто. Лес вернул себе своё. Через сосенки уже не пройдёшь машиной, никогда.

А рядом — их тропа. Узкая, кривая, прорубленная их с Игнатом руками за полдня, ещё пахнущая свежими срезам и потом. Маленькая, скромная — но живая, идущая к воде. К делу.

— Странно, — сказал Андрей. — Большая дорога — заросла. А маленькая тропа — вот, открывается.

Игнат посмотрел на него внимательно, своими светлыми глазами. Помолчал. Потом сказал не сразу:

— Это, Андрюш, ты сам себе такую штуку заметил, что я-то её каждый день вижу и привык. А ты с первого раза увидел. Это ты молодец. — Он улыбнулся. — Об этом мы с тобой ещё поговорим. Не сегодня, сегодня сил не хватит. Завтра, может. А пока — пили дальше. Тропа сама себя не доделает.

Они работали до пятого часа. Солнце уже клонилось, тени удлиннились, повеяло сыростью от реки. И вот, на очередном повороте, ольха перед ними расступилась, открылась пойма с пожелтевшим тростником, и за тростником блеснула вода — серая, спокойная, широкая. Затон. Тот самый, к которому шла тропа.

Андрей опустил топор. Стоял и смотрел.

Игнат подошёл, встал рядом. Долго ничего не говорил. Просто смотрел на свою реку, к которой не приходил десять лет.

— Здравствуй, — тихо сказал он наконец. Не Андрею. Реке.

Они дошли до самой воды. Берег был топкий, заросший, но место, где когда-то стояли мостки, угадывалось по двум полусгнившим сваям, торчащим из воды. Игнат потрогал одну свая, покачал — держалась.

— Весной починим, — сказал он, и в этом «починим» уже было — «мы», вместе, — и Андрей это услышал.

Назад шли по своей тропе, своей же расчищенной. Шли быстро, налегке: пилу и топоры свернули, инструмент бренчал в мешке за спиной у Игната. Тропа лежала под ногами ровная, прибитая их собственными подошвами, ещё пахнущая срезом и землёй. Андрей шёл и думал, что это — первая в его жизни дорога, которую он сделал руками. Не купил. Не нанял. Не организовал. Сам, в две руки со стариком, пропилил, прорубил, прошёл.

Когда вышли к посёлку, было почти темно. В окнах кое-где уже горел жёлтый свет.

— Иди спать, — сказал Игнат на развилке. — Ладони мазь не забудь. Завтра — болеть будет, не пугайся. Это правильная боль, она быстро проходит.

Андрей кивнул. Хотел сказать спасибо — и не сказал. Что-то ему показалось, что сегодня слово это будет лишним, как лишнее перо. Они и так оба знали.

Дома он, как был, в грязной рубахе, сел на лавку у нетопленной печи. На колени положил гудящие ладони. В теле стояла та самая усталость, о которой говорил Игнат: ровная, тяжёлая, но не пустая. Спина болела, плечо тянуло, ладони саднили — а внутри было тихо.

Так тихо, как давно не было.

Он посидел немного, прислушиваясь к этой тишине. Не было привычного шума в голове — той мутной свары мыслей, что преследовала его все последние месяцы. Кто кому должен, кто что сказал, что подумают, что будет завтра. Ничего этого не было. Только усталость, и память о пиле, идущей в такт, и о берёзе, осевшей в траву, и о серой воде, которую они открыли заново.

Андрей встал, разжёг печь. Поставил воду. Намазал ладони стариковой мазью. Постелил себе нормально — нашёл в шкафу простынь, наволочку, лёг как человек.

Лежал и думал про лесовозную дорогу, на которой растут сосны. И про их с Игнатом узкую тропу к воде.

«Я тоже ехал по такой дороге, — подумал он перед сном. — Большой. Широкой. Все по ней ехали. А она, оказывается, заросла. Вернее, я по ней ехал, ехал — и приехал в тупик. А свою тропу никогда не прорубал».

Мысль эта не испугала его. Не разозлила. Не вызвала привычной чёрной волны. Она просто стояла рядом, как факт, как осенний лист на подоконнике.

«Ничего, — подумал он. — Старик завтра обещал об этом поговорить. Завтра».

И уснул — тяжело, глубоко, без снов. С запахом смолы и пота на коже. С первой настоящей усталостью. И — с ожиданием утра.

Глава 6. Чужая колея



Ночью Андрей спал крепко, второй раз подряд. Проснулся от того, что в теле всё ныло — спина, плечи, руки. Каждое движение отзывалось тупой, но не злой болью. Он полежал, прислушиваясь к себе, и вспомнил вчерашнее: пилу, берёзу, серую воду затона. И ту старую лесовозную дорогу, заросшую соснами.

Игнат пришёл к полудню — сам, без зова. Постучал в окно, заглянул.

— Живой? Ладони как?

— Болят, — честно сказал Андрей. — Всё болит.

— Это хорошо. Значит, по-настоящему работал. — Старик прошёл, сел на лавку. — Пойдём прогуляемся. Тихо, без топора. Покажу тебе кое-что заодно.

Они вышли. День был серый, мягкий, без ветра. Игнат повёл его не к реке, а в другую сторону — за околицу, мимо последних домов, к опушке, где начинался лес. И там, на краю, они снова вышли к той самой лесовозной дороге. К чужой колее.

Старик остановился, оперся на палку, которую взял с собой больше для привычки, чем по нужде. Долго смотрел на заросшую колею, на молодые сосны, проросшие прямо в колеях, по которым тридцать лет назад ревели «уралы».

— Вот, — сказал он. — Ты вчера верно подметил. Я и привести тебя сюда хотел, чтоб ты ещё раз глянул. На трезвую голову, без усталости.

Андрей посмотрел. Дорога и правда была мёртвая. Широкая, основательная — видно, что строили её всерьёз, под тяжёлый транспорт, гать клали, песком сыпали. И вся она теперь заросла: посередине молодняк по пояс, по обочинам бурьян, в одном месте лежала упавшая ель, и никто её не убрал, потому что незачем — никто здесь не ездит.

— Хорошая ведь была дорога, — сказал Игнат. — Крепкая. По ней лес тащили, деньги шли, люди при деле были. Целый леспромхоз кормился. А пришло время — лес кончился, контору прикрыли, и дорога эта стала никому не нужна. Большая, а никуда не ведёт. Заросла. Он повернулся к Андрею.

— А ты вчера сказал — большая дорога заросла, а тропка наша открылась. Я ночь думал, что тебе на это сказать. Ты ведь не про дорогу спросил. Ты про себя спросил, только сам не понял.

Андрей промолчал. Он и правда не понял — но что-то внутри откликнулось, дёрнулось, как на знакомое.

— Садись, — Игнат кивнул на ту самую упавшую ель. Они сели на ствол, бок о бок. — Я тебе так скажу. Большинство людей всю жизнь едут по чужой колее. По вот такой вот лесовозной. Кто-то её до них проложил — отец, мать, время, мода, соседи, начальники. Проложил под свои нужды, под свой лес. А человек рождается — и колея уже есть. Готовая. Накатанная. И он по ней катит, не задумываясь, своя она ему или чужая. Потому что по накатанному легче. Колёса сами идут.

— Это про меня, — глухо сказал Андрей.

— Это про всех, Андрюш. Ты не один такой. — Игнат подобрал с земли сосновую шишку, повертел в пальцах. — Вот смотри. Тебя в детстве как учили? Учись хорошо, чтоб поступить. Поступай, чтоб диплом. Диплом, чтоб работа. Работа, чтоб деньги. Деньги, чтоб квартира, машина, чтоб не хуже людей. Так?

— Так.

— И ни на одном повороте никто тебя не спросил — а ты-то сам куда хочешь? А тебе это надо? А по тебе ли эта дорога? Нет. Колея уже была. Все по ней катили — и ты покати. Пятнадцать лет катил. Хорошо катил, быстро, всех обгонял. А приехал — куда?

Андрей усмехнулся горько.

— В тупик. В лужу под Тверью.

— В лужу, — кивнул Игнат. — Потому что дорога-то была не твоя. Чужая. Лесовозная. По ней до тебя возили чужой лес. А когда твой лес кончился — а он кончается у всех, рано или поздно, — дорога-то осталась, а везти по ней нечего. И стоишь ты посреди этой широкой дороги, и не понимаешь, куда теперь. Назад — пусто. Вперёд — заросло.

Они помолчали. Где-то в лесу стучал дятел — размеренно, упрямо.

— А как понять, — спросил Андрей, — что колея чужая? Я ведь думал, что моя. Я ведь хотел — денег, машину, статус. Искренне хотел. Это же я хотел, не отец.

— А вот это, Андрюш, самый хитрый вопрос. — Игнат отбросил шишку. — Чужое хотение прирастает к человеку так крепко, что он его за своё держит. Думает — я хочу. А копни глубже — не ты хочешь. В тебя это вложили. Сосед хочет, чтоб у него было не хуже, чем у людей. А кто эти «люди»? Да такие же, как он, которые тоже хотят, чтоб не хуже. И все по кругу друг на друга смотрят и гонятся непонятно за чем. Вроде каждый сам хочет, а если разобраться — никто не хочет, все просто боятся отстать.

— Боятся отстать, — повторил Андрей. — Да. Это точно. Я всю жизнь боялся отстать.

— И как отличить своё от чужого — есть один способ. Простой. — Игнат поднял палец. — Своё хотение тихое. Оно не от страха, а от тепла. Когда ты делаешь своё — тебе не надо, чтоб все видели и завидовали. Тебе и без зрителей хорошо. А чужое хотение — оно всегда на публику. Всегда «чтоб увидели», «чтоб оценили», «чтоб не хуже». Вот и проверь себя: твоя машина, твоя квартира — ты их для себя хотел или чтоб показать? Своё дело ты делал — или чтоб доказать кому-то?

Андрей долго молчал. Потом сказал тихо:

— Чтоб доказать. Отцу, наверное. Он меня всю жизнь ни во что не ставил. И я думал — заработаю, добыюсь, и он наконец... — Голос сорвался. — А он умер. И ничего я не доказал. Ни ему, ни себе.

Игнат положил руку ему на плечо. Тяжёлую, тёплую.

— Вот, — сказал он мягко. — Теперь видишь, чья это была колея. Не твоя. Отцова. Точнее — твоей боли по отцу. Ты пятнадцать лет ехал, чтоб ему доказать. А он и не смотрел на эту дорогу. Его на ней давно не было.

Андрей опустил голову. В груди что-то сжалось, тяжело и горячо.

— И что теперь? — спросил он. — Колея чужая. А своей нет. Я её никогда не прокладывал. Не умею даже.

— А вот тут хорошая новость, — Игнат улыбнулся. — Свою дорогу не прокладывают сразу, широкую да накатанную. Своя — она начинается с тропки. С узкой. Кривой. Которую ты сам, руками, через бурьян. Помнишь вчерашнее? Мы ж не магистраль строили. Мы тропку расчищали. Метр за метром. Вот так и своя жизнь начинается — не с великого, а с одной тропки к реке.

Он встал, разминая поясницу.

— Я тебе ещё что скажу. Не бойся, что чужую колею бросил. Бойся другого — что вернёшься на неё. Знаешь, как оно бывает? Помучается человек, поймёт, что не туда ехал, выйдет из машины, постоит, подумает... а потом страшно ему станет одному в лесу без дороги. И он назад, в колею, в привычное. Хоть и чужое, да накатанное. Хоть и в тупик, да не одному.

— А как не вернуться?

— А ты тропку свою не бросай. Хоть маленькую, хоть кривую — каждый день по метру. Пока она у тебя есть, пока ты по ней ходишь — на чужую колею не потянет. Человека на старое тянет, когда у него своего нет. А когда есть своё, пусть малое, — оно держит.

Они пошли обратно. Андрей оглянулся на лесовозную дорогу — широкую, мёртвую, заросшую соснами. И посмотрел на неё без тоски. Просто — чужая дорога. Кто-то по ней возил свой лес. Отъездил своё. А он, Андрей, на ней оказался случайно, по чужой указке, и хорошо, что съехал. Лучше поздно, чем никогда.

— Игнат Петрович, — сказал он по пути. — А вы свою колею когда нашли? Ну, когда поняли, что инженерство — не совсем ваше, а ваше — вот это всё, пчёлы, плотницкое?

Старик шёл, глядя под ноги.

— Я тебе вчера сказал — я не искал. Но это не вся правда. — Он помолчал. — Я долго ехал по чужой. Завод, турбины, план, премия. Хорошая дорога, не жалуюсь. Только однажды понял: еду я по ней, а радости нет. Уважение есть, деньги есть, а тепла внутри нет. И испугался я тогда, Андрюш, не меньше твоего. Шестьдесят лет, вся жизнь по одной колее, а оказалось — не туда. Думал — поздно сворачивать. Куда мне, старику.

— И что?

— А ничего. Сел на пенсию, переехал сюда. Думал — доживать. А тут сосед, дед Семён, царствие небесное, говорит: помоги мне с пчёлами, руки уже не те. Я и пошёл — от скуки, от нечего делать. И вот на третий день стою я у улья, рамку держу, мёд пахнет, пчела гудит, солнце светит — и чувствую: вот оно. Вот это тепло, которого за тридцать лет на заводе не было. Шестьдесят лет дожил — и нашёл.

Он остановился, посмотрел на Андрея светлыми глазами.

— Так что не говори мне «поздно». Тебе тридцать восемь. Мне было шестьдесят. И то не поздно оказалось. Никогда не поздно сойти с чужой колеи. Поздно — это когда в гробу лежишь и понимаешь, что всю жизнь не туда ехал. Вот это поздно. А пока дышишь — рано. Всегда рано.

Они дошли до посёлка. У развилки Игнат остановился.

— Ты вот что. Не грузись сегодня. Я тебе много всего вывалил, переваривай потихоньку. Это не за день усваивается. Зайди вечером, чаю попью. Завтра, может, на рынок со мной съездишь — мёд везу в райцентр. Заодно на людей посмотришь, на базар. Там тоже наука есть, своя.

Андрей кивнул. Пошёл к себе. Дома сел у окна, посмотрел на реку. В голове крутилось одно: чужая колея. Пятнадцать лет по чужой колее. Доказывал мёртвому отцу. Гнался, чтоб не отстать от людей, которых даже не уважал.

Раньше эта мысль раздавила бы его. Сейчас — нет. Потому что рядом со страшным выводом лежал другой, тихий и тёплый: ещё рано. Можно сойти. Можно расчистить свою тропку. По метру. Как вчера к реке.

Он встал, нашёл в углу палку, которую дал ему Игнат в первый день, — кривую, выструганную. Хотел было опять прислонить к косяку, потом подумал и поставил у печи, на видное место. Пусть стоит. Память о первой тропе.

«Чужая колея, — подумал он, глядя на огонь. — Я по ней приехал в тупик. Но в этот тупик, оказывается, ведёт тропа к реке. И к старику с пасекой. Может, не зря приехал. Может, по чужой дороге — да в нужное место».

Он усмехнулся этой мысли. Странная она была, нелогичная. Но в ней было тепло. То самое тихое тепло, по которому, как сказал Игнат, и узнаётся своё.

Вечером он пошёл к Игнату пить чай. И шёл не от одиночества, не от того, что некуда деться. А потому что хотел. Своим, тихим, не напоказ хотением.

Шёл по своей, уже немного протоптанной тропке — от своего крыльца к чужому, которое понемногу становилось не чужим.

Глава 7. Поездка на рынок



«Уазик» у Игната был старый, тёмно-зелёный, с брезентовым тентом и сиденьями, обтянутыми вытертым дерматином. Заводился он не с первого раза — старик долго качал ручку подсоса, что-то приговаривал мотору вполголоса, как живому, и тот наконец схватывался, чихал сизым дымом и начинал работать ровно, басовито.

Выехали затемно, в пятом часу. Андрей ещё толком не проснулся, сидел, привалившись к холодной дверце, и смотрел, как фары выхватывают из тьмы разбитую дорогу — ту самую, по которой он приехал неделю назад. Только теперь она его не пугала. В кузове, заботливо переложенные старыми одеялами, чтоб не побились, стояли ящики с мёдом — банки и баночки, тёмные и светлые, гречишные, липовые, разнотравье. Игнат собирал их сам, каждую подписывал карандашом на крышке, своей рукой.

— Раз в месяц езжу, — рассказывал он, держа баранку обеими руками. — Чаше нет смысла, реже — мёд застаивается. В райцентре рынок субботний, народ съезжается со всей округи. Кто что продаёт — картошку, грибы, рыбу, мёд. Живой рынок, не магазин.

Светало медленно, неохотно. К тому времени, как они въехали в райцентр, небо было серое, низкое, и моросил мелкий дождь — не сильный, надоедливый. Городок оказался невелик: пара пятиэтажек, длинный ряд старых купеческих домов с облупленными вывесками, церковь с потемневшими куполами и площадь, на которой и располагался рынок.

Рынок гудел. Андрей не ожидал такого. После тишины посёлка эта суета оглушила его. Ряды деревянных прилавков под навесами, грузовички, легковушки с открытыми багажниками, бабки с ведрами и корзинами прямо на земле, на расстеленной клеёнке. Кричали, торговались, зазывали. Пахло квашеной капустой, копчёной рыбой, бензином, мокрым брезентом, прелыми листьями.

Игнат подъехал к своему месту — видно, постоянному, его тут знали. Соседи по ряду закивали, поздоровались. Старик неспешно разложил товар на прилавке, поставил банки рядами, вытащил из-под сиденья весы — старые, с гирьками, чашечные, — установил их, проверил равновесие. Достал ложечки для пробы, чистую тряпицу.

— Стой рядом, — сказал он Андрею. — Смотри. Это тоже учёба.

Андрей встал рядом, поднял воротник от мороси. И стал смотреть.

Рынок жил по своим законам, жёстким и быстрым. У соседнего прилавка две женщины торговали картошкой, и одна громко, на весь ряд, переманивала покупателей от другой: «Идите ко мне, у неё гнилая, у меня отборная!» Та огрызалась. Чуть дальше мужик продавал рыбу и, как заметил Андрей, ловко подкладывал на весы что потяжелее, прикрывая сверху рыбиной получше. Кто-то с кем-то ругался из-за места. Где-то завистливо косились на чужой бойкий товар.

Андрей смотрел и узнавал. Это же его мир. В уменьшенном, грубом, обнажённом виде — но его. Те же приёмы, та же грызня, то же «перетянуть клиента», «впихнуть подпорченное под хорошим», «обвесить незаметно». Только в Москве это называлось красиво — маркетинг, конкуренция, оптимизация. А тут, на мокрой площади, без галстуков и презентаций, было видно голое нутро: каждый тянет на себя, каждый за рубль готов соседу глотку перегрызть.

Игнат торговал иначе. Не зазывал. Не кричал. Стоял спокойно, и к нему шли — кто по старой памяти, кто на чистый ряд банок. Подходил человек, Игнат давал попробовать с ложечки, не жалея, говорил, какой мёд с чего, отвечивал ровно, гирьку клал честно, на глазах. Сдачу отсчитывал до копейки. Не торговался остервенело, но и не уступал лишнего — называл цену и держал её спокойно, без надрыва.

— А чего так дорого? — наседали на него мордастый покупатель в кожаной куртке, из тех, кому важно не купить, а продать. — Вон у того дешевле!

— У того и бери, — спокойно ответил Игнат, не повышая голоса. — Хороший человек, плохого не держит.

— Да ты сам-то небось сахаром кормишь пчёл, а потом за мёд выдаёшь!

Андрей почувствовал, как у него самого вскипает — за старика, за оскорбление. Хотел встрять. Но Игнат и бровью не повёл.

— Может, и сахаром, — сказал он с лёгкой усмешкой в усах. — Ты попробуй да сам реши. Ложка вон. Не понравится — не бери, силой не неволю.

Мордастый, набычившись, зачерпнул, попробовал. Пожевал губами. Видно было, что мёд хорош и крыть нечем. Хмыкнул, буркнул что-то, отвалил, ничего не купив, — таким важнее покуражиться, чем купить. Игнат проводил его спокойным взглядом, без злости, и повернулся к следующему.

— Чего он к вам прицепился? — не выдержал Андрей.

— А ему не мёд нужен, Андрюш. Ему нужно себя показать. Над кем-то верх взять. Таких на каждом базаре по десятку. Не след с ними собачиться — только грязью обмажешься. Стой себе ровно да делай своё.

Торговля шла. Банки помаленьку убывали. Андрей понемногу втянулся, начал подавать старику то тряпицу, то гирьку, складывал деньги в жестяную коробку. И тут к прилавку подошла старушка.

Маленькая, сухонькая, в стареньком пальто не по сезону и платке, повязанном по-деревенски, под подбородок. В руках — потёртая клеёноччатая сумка. Она долго стояла у прилавка, глядела на банки с мёдом, и в глазах её было такое, что Андрей сразу понял: денег нет, а очень надо.

— Почём вот этот, гречишный? — спросила она тихо.

Игнат назвал цену. Старушка покивала, открыла сумочку, порылась там сухонькими пальцами, пересчитала какую-то мелочь на ладони. И снова покивала, виновато.

— Дорого мне... Я бы внуку, он у меня кашляет всю осень, мёд бы ему с молоком... да вот не наберу. — Она засуетилась, заторопилась убрать кошелек. — Ладно, ладно, не буду задерживать, людям продавайте...

И тут Игнат, не говоря ни слова, взял из ряда самую большую банку, гречишного, килограмма на полтора, обернул её в газету и протянул старушке.

— Бери, мать. Внуку.

Старушка замерла, не понимая.

— Так у меня ж... я ж говорю, у меня только вот... — Она снова открыла кошелек.

— Убери, — мягко сказал Игнат. — Не надо денег. Бери так. Внук поправится — вот и расплата. Лучше всяких денег.

Старушка засуетилась, на глазах у неё выступили слёзы, она забормотала что-то — спасибо, дай бог здоровья, добрый человек, — прижала банку к груди, как ребёнка, и пошла, оглядываясь и кланяясь. Игнат кивнул ей вслед и спокойно повернулся к прилавку, к другим покупателям, будто ничего и не было.

Андрей стоял ошарашенный. Полтора кило гречишного мёда. Самая большая банка. Просто так. Отдал — и забыл.

Он молчал, пока они не распродали почти весь товар, пока не свернули прилавков, не загрузили в «уазик» пустые ящики и две оставшиеся банки. Молчал, пока выезжали с гудящего рынка на дорогу. И только когда городок остался позади и потянулись по обе стороны мокрые поля, он не выдержал.

— Игнат Петрович. Вот зачем вы это сделали?

— Что? — Старик не отрывал глаз от дороги.

— Мёд этот. Старушке. Бесплатно. Самую большую банку. — Андрей повернулся к нему всем корпусом. — Это же... ну это же убыток. Вы её и не знаете. Сколько таких будет ходить — узнают, что вы раздаёте, и набегут. Так же нельзя торговать. Так и без штанов останешься. Я в бизнесе пятнадцать лет — это первое правило: благотворительность отдельно, дело отдельно. Иначе сожрут.

Игнат помолчал. Дорога шла под уклон, мотор гудел ровно. Дождь перестал, в разрыве туч проглянуло бледное солнце, и мокрые поля заблестели.

— Сожрут, говоришь, — сказал он наконец. — Ну вот ты пятнадцать лет торговал по этому правилу. Дело отдельно, душа отдельно. И где твоё дело теперь?

Андрей осёкся. Удар попал точно.

— Это другое, — сказал он, но уже не так уверенно. — Меня партнёр кинул, не в благотворительности дело.

— А кто такой партнёр? — спокойно спросил Игнат. — Это тот, с кем у тебя дело — отдельно, а душа — отдельно. Вы ж дружили не душами, а интересами. Пока выгодно — вместе. Стало невыгодно — он деньги забрал и в Дубай. По вашему же правилу и поступил. Дело — отдельно. Чего ж ты обижаешься? Он только честно сыграл по тому закону, который вы оба приняли.

Андрей открыл рот — и закрыл. Сказать было нечего.

— А я тебе про эту бабку так скажу, — продолжал Игнат, переключая передачу на подъёме. — Не убыток это, Андрюш. Прибыль. Только не та, которую в коробку жестяную складывают. Я этой банкой что купил, знаешь? Покой. Я домой еду — и на душе светло, что пацан с мёдом, кашлять перестанет. Это мне дороже трёхсот рублей. Я бы эти триста рублей пропил бы или на ерунду спустил, и забыл. А так — будет жить во мне это тепло, и греть будет. Вот и считай, кто в убытке.

— Но если все будут так делать...

— Не будут все. — Игнат усмехнулся. — Ты ж сам видел рынок. Все тянут на себя, обвешивают, переманивают. Никто не отдаёт. Потому такие, кто отдаёт, и нужны — чтоб мир

совсем не зачерствел. Капля мёда в бочке дёгтя. Если и этой капли не будет — что ж за бочка-то останется.

Они ехали молча какое-то время. Андрей смотрел в окно на проплывающие поля и переваривал. В голове не сходилось. Всё, чему он учился, во что верил пятнадцать лет, — выгода, расчёт, «ничего личного, только бизнес» — вдруг показалось не мудростью, а болезнью. Той самой гнилью, про которую старик потом, через несколько дней, скажет ему на ремонте крыльца.

— Я не понимаю, — сказал он честно. — Вот правда не понимаю. Меня всю жизнь учили, что выгода — это главное. Что кто не считает деньги, тот дурак и его обманут. Что доброта — это для слабых, кто не умеет зарабатывать. И я в это верил. И зарабатывал. А вы говорите, наоборот. И при этом вы... — он замялся, — вы спокойнее меня. Счастливее, что ли. У вас же копейки против того, что у меня было. А вы как будто богаче.

Игнат глянул на него быстро, искоса, и в глазах мелькнуло что-то тёплое — старик понял, что парень не спорит уже, а спрашивает по-настоящему.

— Вот, — сказал он. — Вот ты и подобрался к главному вопросу. Ты ж не про мёд спросил и не про бабку. Ты спросил — отчего это у тебя денег было много, а внутри пусто, а у меня денег мало, а внутри полно. Так?

— Так, — тихо сказал Андрей.

— Это большой разговор. — Игнат сбавил скорость, дорога пошла ровнее. — Это про то, зачем люди вообще за деньгами гонятся и отчего, догнав, не радуются. Я тебе по дороге расскажу, как умею. Путь долгий, как раз хватит. Только ты слушай не ушами. Ты сердцем слушай. Деньги — они хитрая штука. Про них умом не понять, умом как раз и попадаешь в ловушку.

Андрей кивнул. Привалился к дверце, приготовился слушать.

А перед глазами всё стояла та старушка — как она прижимала к груди банку, завернутую в газету, как кланялась, как блестели у неё слёзы. И странное дело: ему было хорошо от этой картинки. Тепло. Как будто это он сам отдал ту банку, а не Игнат. Как будто и ему перепало того покоя, о котором говорил старик.

Может, в этом и был расчёт, подумал он вдруг. Хитрый стариковский расчёт, которого не понять бухгалтерией. Отдал кусок мёда — а вернулось что-то, чего ни на каких весах не взвесишь и ни в какую жестяную коробку не положишь.

«Уазик» катил по мокрой дороге к посёлку. Солнце пробивалось сквозь тучи всё сильнее. Игнат прокашлялся, собираясь с мыслями, и начал говорить — неспешно, негромко, под ровный гул мотора. О деньгах. О богатстве. О той пустоте, что остаётся, когда гонишься за цифрой, и о том тепле, что приходит, когда перестаёшь.

Андрей слушал. И не считал в уме убытки.

Глава 8. Почему все стремятся быть богатыми?



«Уазик» катил по мокрой дороге, мотор тянул ровно, под колёсами шуршала отсыревшая щебёнка. Солнце пробивалось сквозь рваные тучи всё настойчивее, и поля по обе стороны блестели, как вымытое стекло. Игнат вёл одной рукой, другую положил на колено, и говорил неспешно, делая паузы на поворотах и подъёмах.

— Ты спросил — отчего у тебя денег было много, а внутри пусто. — Старик помолчал. — А я тебя сперва спрошу. Вот ты пятнадцать лет деньги зарабатывал. Много заработал. А скажи: ради чего? Вот честно, сам себе. Зачем тебе были те деньги?

Андрей задумался. Раньше ответ был бы простой и быстрый. Сейчас он покрутил вопрос в голове и понял, что простого ответа нет.

— Ну... чтобы жить хорошо. Квартира, машина. Чтобы ни в чём не нуждаться.

— Квартира у тебя была?

— Была. В Митино, потом побольше взял, в центре почти.

— Машина?

— Две. И ещё жене.

— Ну вот. Жил хорошо. Ни в чём не нуждался. — Игнат глянул искоса. — А зачем тогда дальше зарабатывал? Тебе ж уже хватало. Квартира есть, машина есть, ешь досыта. Зачем больше-то гнался?

Андрей открыл рот — и замолчал. Потому что и правда: хватало давно. Можно было остановиться годам к тридцати трём, к тридцати четырём. Жить тихо. Но он не остановился. Гнал дальше, брал кредиты, влезал в новые проекты, рисковал тем, что было, ради того, чего ещё не было.

— Не знаю, — сказал он наконец честно. — Привычка, наверное. Все вокруг гнали — и я гнал. Остановишься — обгонят.

— Вот, — кивнул Игнат. — Уже теплее. Ты не для жизни зарабатывал. Жизнь у тебя уже была обеспечена. Ты зарабатывал, чтоб не отстать. Чтоб не хуже других. Чтоб числиться среди тех, кто наверху. Это, Андрюш, и есть главная ловушка. Люди думают, что гонятся за деньгами. А на самом деле гонятся за местом в стае.

— За местом в стае, — повторил Андрей.

— Ну да. Деньги-то сами по себе бумага. Их съесть нельзя, в них спать холодно. Деньги человеку нужны на простое: поесть, одеться, крышу над головой, детей поднять, на чёрный день отложить. Вот это — настоящая нужда, её немного. На это много не надо. А всё, что сверх этого, — оно уже не на жизнь. Оно на показ. На то, чтоб люди видели и завидовали, или хоть уважали. Чтоб самому себе сказать: я лучше, я выше, я добился.

Дорога пошла на подъём, мотор натужно загудел, Игнат сбавил, переключился. Помолчал, пока выехали на ровное.

— Я тебе так скажу. Бедности люди боятся не оттого, что голодать страшно. Голодать у нас давно никто не голодает, не девятнадцатый год. Боятся другого. Боятся, что если у тебя нет — то ты никто. Что отвернутся. Что будут глядеть сверху вниз. Вот этого страха люди и бегут всю жизнь. А называют его красиво — «стремление к успеху», «амбиции», «хочу обеспечить семью». А под красивым словом сидит голый страх: не быть никем.

Андрей слушал, и внутри ёкало. Слишком точно. Он вспомнил, как боялся — не нищеты даже, а позора. Как боялся звонка от знакомого, который спросит: «Ну как дела, как бизнес?» — и придётся врать или признаваться. Как боялся взглядов. Как, уже теряя всё, он первым делом думал не «на что я буду жить», а «что обо мне скажут».

— Это правда, — сказал он тихо. — Я не нищеты боялся. Я позора боялся. Что все увидят, что я проиграл.

— Вот видишь. — Игнат удовлетворённо кивнул. — Деньги тут и ни при чём почти. Деньги — это просто фишки в игре, где меряются, кто кого. А игра-то — про гордыню. Про то, чтоб быть выше соседа. И вот в чём подвох, Андрюш: эту игру выиграть нельзя. В принципе нельзя.

— Почему?

— А потому что наверху всегда есть кто-то выше. Заработал миллион — а у кого-то десять. Заработал десять — а у кого-то сто. Купил машину — у соседа дороже. Купил дом — у другого дворец. Этой лестнице конца нет. Сколько ни лезь — всегда будет ступенька выше, и всегда найдётся тот, на кого посмотришь снизу вверх и кольнёт: а я-то что же, хуже? И всё. И снова гонишь. И так до гроба. Я таких видал — у человека денег на три жизни вперёд, а он трясётся, считает, завидует, спать не может. Богатый, а нищий. Внутри нищий.

Они проехали поворот. Впереди показалась деревенька — несколько домов, колодец-журавль, женщина с коромыслом.

— А счастливый человек, — продолжал Игнат, — это не тот, у кого много. Это тот, кому хватает. Чуешь разницу? Много — это всегда мало, потому что рядом есть больше. А хватает — это когда ты перестал смотреть на соседа и посмотрел в свою тарелку. И увидел, что в ней есть, чем наесться. И сказал: спасибо, мне довольно. Вот этот человек богат по-настоящему. Хоть у него и одна корова.

— Но ведь нельзя же совсем не хотеть лучшего, — возразил Андрей. — Это что, сидеть и довольствоваться малым? Не развиваться, не расти? Так и в землянке можно остаться.

— А я не про то говорю. — Игнат покачал головой. — Хотеть лучшего — это хорошо. Это правильно. Человек должен расти, дело своё ставить, детям лучшее давать. Я не про лень и не про землянку. Я про то, ради чего ты растёшь. Вот в чём вся соль. Можно расти, чтоб дело сделать доброе, людей накормить, семью поднять, себя в труде проявить. А можно расти,

чтоб соседа переплюнуть да на людей сверху глянуть. Снаружи вроде одно — оба богатеют. А внутри — небо и земля. Один растёт от любви, другой от страха да зависти. У первого по дороге радость. У второго — гонка и пустота.

Андрей смотрел в окно. Деревня проплыла мимо, женщина с коромыслом обернулась на машину, поправила платок.

— Как же отличить, — спросил он, — где у тебя одно, а где другое? Я ведь сам себе говорил, что для семьи, для дела. А выходит, для гордыни.

— А ты проверь себя так, — сказал Игнат. — Простой вопрос задай. Вот заработал ты — и стало тебе спокойно? Тихо на душе, тепло? Или, едва заработал, тут же глаз косишь — а кто заработал больше, и снова неймётся? Если, получив, ты успокаиваешься хоть ненадолго, благодаришь — значит, по нужде брал, по-доброму. А если, получив, тут же хочешь ещё, и ещё, и нет этому дна, и каждый раз пусто, — значит, не деньги тебе нужны. Дыру в душе ты деньгами затыкаешь. А её деньгами не заткнёшь. Она бездонная.

— Дыру в душе, — повторил Андрей. И вдруг понял, что это про него. Что все эти годы он именно затыкал. Новой машиной, новым контрактом, новым рестораном, новым отдыхом на островах. Заткнёт — на день, на два полегчает. Потом снова сквозит. И снова надо что-то купить, чего-то добиться, кому-то доказать.

— А отчего она, дыра-то? — спросил он. — Откуда берётся?

Игнат помолчал. Дорога шла ровно, посёлок был ещё не близко.

— У всех по-разному. У кого с детства. Не любили — вот и сквозит всю жизнь, и человек ищет, чем эту нелюбовь заместить. Деньгами, славой, бабами, вином — кто чем. У кого от страха смерти: чувствует человек, что не вечен, и торопится награть, будто этим от смерти откупится. А у кого от пустоты — нет в человеке своего стержня, нет дела по душе, нет веры, нет любви, вот он и набивает себя добром, как чучело соломой, чтоб не чувствовать, какой он внутри пустой.

Он покосился на Андрея.

— У тебя, я так думаю, с отца началось. Ты сам обмолвился. Доказать хотел. Это самая злая дыра — когда родитель не признал. Человек потом всю жизнь весь мир пытается заставить признать. Деньгами, успехом. А миру плевать. Мир не отец. Сколько ни заработай — отца этим не вернёшь и его слова не услышишь.

Андрей сглотнул. В горле стояло что-то горячее. Старик попадал в самое болезненное, но не злобно, не нарочно — а будто доктор, который шупает, где болит, чтобы понять, что лечить.

— И что с ней делать? — спросил он глухо. — С дырой этой.

— А вот это, Андрюш, — Игнат вздохнул, — это уже не про деньги разговор. Это про отца, про прощение, про любовь. До этого мы ещё дойдём, не всё сразу. Скажу пока одно: дыру в душе не деньгами латают и не успехом. Её латают только любовью да благодарностью. Когда человек научается любить то, что у него есть, и благодарить за то, что дано, — дыра-то и затягивается потихоньку. И тогда странная штука выходит: денег вроде столько же, а уже хватает. Потому что дыры нет, утекать некуда.

Они помолчали. Андрей переваривал. За окном тянулись поля, лес подходил ближе.

— А вы, Игнат Петрович, — спросил он, — вы как от этой гонки соскочили? Вы ж инженер были, на заводе. Премии, должности. Тоже ведь, наверное, тянулись, лезли вверх?

— Тянулся, — кивнул старик. — Не без того. Хотел начальником цеха, потом главным инженером метил. Костюм носил, портфель. Завидовал тем, кто выше сидел. Всё как у людей. — Он усмехнулся. — А потом меня жизнь от этой гонки сама отцепила. Жену схоронил рано, детей бог не дал. Завод развалился, должности — тютю. И остался я, Андрюш, голый. Без жены, без должности, без премий. Один как перст, в чужом доме, в глуши. И вот тут-то самое страшное и самое спасительное со мной и случилось.

— Что?

— А то, что не на кого стало смотреть. Понимаешь? Гонка — она ж в толпе идёт. Все бегут — и ты бежишь, на соседа косишься. А меня выкинуло из толпы. Один в лесу. Соседа нет. Сравнить себя не с кем. И вот я посмотрел не на других, а в свою тарелку. И спросил себя: а чего мне-то самому надо? Не чтоб не хуже Иван Иваныча, а вот мне, Игнату, для жизни? И оказалось — немного. Печь топить, чай пить, пчёл водить, дерево строгать, реку смотреть. Вот и всё счастье. А гонялся-то — за чем? За местом в стае, которой больше нет.

Андрей слушал и узнавал себя. Его ведь тоже выкинуло из толпы. Тем же манером — потерял всё, остался один, в глуши, без сравнения. Только он этот свой выброс пока переживал как несчастье, как крах. А старик говорил о таком же как о спасении.

— То есть, — медленно сказал Андрей, — то, что я всё потерял... это, может, и не беда вовсе?

Игнат глянул на него, и в глазах его блеснуло что-то живое, одобрителное.

— Вот, — сказал он. — Вот ты и сам подходишь. Я не скажу, что это благо, — терять больно, я не люблю красивых слов про «всё к лучшему». Больно — значит больно. Но в этой беде, Андрюш, тебе дали то, что за деньги не купишь. Тебя из гонки выдернули. Поставили одного перед собой. Теперь у тебя есть выбор, какого у бегущих в толпе нет. Ты можешь посмотреть в свою тарелку и спросить: а чего мне-то надо? По-настоящему. Не для людей. Для себя.

Впереди показался поворот на Кривцово, тот самый указатель на одном гвозде. Игнат сбавил ход.

— Большинство людей, — сказал он, — этот вопрос себе так и не задают за всю жизнь. Некогда им. Бегут. А ты — стоишь. Тебя остановили. Это дорогого стоит. Дороже, может, чем весь твой бизнес.

Они свернули. Дорога стала хуже — пошли ямы, лужи. Андрей смотрел вперёд и думал. В груди было странно — не пусто, как обычно, а будто что-то проворачивалось, тяжело, со скрипом, как старый замок, который давно не открывали.

Всю жизнь он бежал за деньгами. И думал — за свободой бежит, за хорошей жизнью. А оказалось — от страха бежал. Чтоб не быть никем. Чтоб отец, мёртвый отец, наконец сказал «молодец». И сколько ни заработал — отец молчал. Потому что мёртвый. Потому что мир не отец.

— Игнат Петрович, — сказал он, когда показались первые дома посёлка. — А деньги-то — что, совсем плохо? Грех, что ли?

— Да упаси бог. — Старик мотнул головой. — Деньги — хорошая вещь. Я ж их тоже зарабатываю, мёд вот продаю. Деньги — как огонь. На огне кашу варят, дом греют, хлеб пекут. А можно тем же огнём дом спалить. Огонь не виноват. Дело в том, кто его в руках держит и зачем. Деньги — слуга хороший, да хозяин скверный. Пока они тебе служат — на жизнь, на дело, на доброе — благо. А как ты им служить начал, как они тобой завладели, как ты ради них спать перестал и совесть заложил — всё, пропал. Уже не ты деньгами владеешь, а они тобой.

Он остановил «уазик» у своего двора, заглушил мотор. Стало тихо. Только тикал остывающий двигатель да где-то лаяла собака.

— Ты не от денег беги, Андрюш, — сказал Игнат, повернувшись к нему. — Деньги наживай, дело ставь, не дури. Ты от гонки беги. От того, чтоб мерить себя чужой меркой. Заработал на жизнь — поблагодари и живи. Захотел больше для доброго дела — расти, бог в помощь. А вот меряться, завидовать, доказывать — это брось. Это и есть та самая дыра, в которую вся жизнь утекает, а дна не видать.

Они помолчали, сидя в остывающей машине.

— Ну, — сказал старик, хлопнув себя по коленям, — заболтались. Помоги ящики занести. И заходи вечером, чаю с мёдом попьём. Не за деньги, — он подмигнул, — за так.

Андрей улыбнулся. Они вышли, стали выгружать пустые ящики и две оставшиеся банки. Андрей нёс их в сени и думал, что вот — банка мёда. Простая, тяжёлая, тёплая на ощупь. За ней — лето, цветы, тысячи перелётов пчёл, труд старика. И стоит она каких-то денег. А счастья в ней — на целую зиму, если есть по ложке с чаем, не спеша, благодаря.

И ещё он думал о той старушке с её внуком. Как Игнат отдал самую большую банку — и ничего не потерял. Наоборот, привёз домой что-то, чего у Андрея за все богатые годы не было ни разу. Покой.

Вечером он пришёл пить чай. Сел у тёплой печи, обхватил кружку ладонями. И не думал о том, сколько у него осталось денег на карте. Думал о том, что вот — тепло, чай, мёд, и старик напротив, и за окном тихо.

Хватает, подумал он. Странное, забытое слово. Хватает.

Глава 9. Старый фотоальбом



Вечер выдался долгий и пустой. После рынка, после разговора в машине Андрей пришёл к Игнату на чай, посидел с час, но старик быстро сморился — встал-то затемно, — и Андрей ушёл к себе, чтобы не держать человека. Дома было тихо. Печь он протопил, в комнате стояло сухое тепло, пахло берёзовым дымом. Делать было нечего, спать не хотелось.

Он походил из угла в угол, постоял у окна. За стеклом чернела река, на том берегу не было ни огонька. Потом взгляд его упал на дверь в чулан — низкую, в углу за печью, которую он за все эти дни ни разу не открывал. Туда он даже не заглядывал, бросив сумку в комнате. А делать всё равно было нечего. Андрей подумал: разберу, что ли. Всё равно жить тут долго, надо знать, что в доме есть.

Чулан был тесный, без окна. Он зажёл переноску — лампочку на проводе, что висела у входа, — и в жёлтом неровном свете увидел завалы чужого, оставленного добра. Старые валенки, подшитые кожей. Кадушка с обручами. Связка ржавых ключей ни от чего. Чугунки, ухваты. Стопка пожелтевших газет, перевязанных бечёвкой. Прялка без колеса. Жизнь людей, которые тут жили до него и которых он не знал.

Хозяев этого дома он представлял смутно. Риелтор говорил: какая-то Лиза, давно померла, дом перешёл сыну, тот уехал в Германию, оттуда и сдаёт через знакомых. Вот и весь сказ. А тут, в чулане, осталась вся их прежняя жизнь — никому не нужная, забытая, сваленная в угол, чтобы не мешала.

Андрей разбирал вещи без особой цели, просто перекладывал, смотрел, отставлял в сторону. Газеты были за восьмидесятые годы — пожелтевшие, ломкие, с передовицами про надои и пятилетку. Он усмехнулся, отложил. И тут, под газетами, на дне старого фанерного ящика, нащупал что-то твёрдое, плоское. Вытащил.

Это был фотоальбом. Большой, тяжёлый, в бордовом бархатном переплёте, какие делали раньше, — с тиснёным узором, с металлическими уголками, потускневшими от времени. Бархат местами вытерся до основы, корешок треснул. Андрей сдул с обложки слой пыли, чихнул. Постоял, держа альбом в руках. Чужая память. Не его дело. Положить бы обратно.

Но руки уже открывали.

Первые страницы — свадьба. Чёрно-белые снимки с фигурными белыми краешками. Молодая пара: он в мешковатом костюме, она в простом платье, с букетом. Серьёзные, напряжённые лица — так раньше снимались, будто на документ, не улыбаясь. Потом — та же женщина с младенцем на руках, на фоне этого самого дома, ещё нового, светлого. Потом мальчишка лет пяти на трёхколёсном велосипеде. Школьная линейка с гладиолусами.

Андрей листал, и ему было странно тепло и тоскливо разом. Вот она, чья-то жизнь, разложенная по страницам. Родился, пошёл в школу, вырос. Те же вехи у всех. И у него были такие же снимки, только мать увезла их к себе, в её квартиру, и он не видел их уже лет десять.

Он перевернул ещё страницу — и замер.

Рыбалка. Берег реки — наверное, той самой, что текла под окном. Отец и сын. Мужчина — тот самый, со свадебной фотографии, только постаревший, обрюзгший, в выцветшей рубашке и кепке. Рядом — мальчишка лет десяти-двенадцати, худой, вихрастый, держит удочку и небольшую рыбёшку на крючке, показывает в объектив. Гордый, счастливый — у мальчишки. А отец стоит рядом, чуть позади, и не смотрит ни на рыбу, ни на сына. Смотрит куда-то в сторону, мимо камеры, с тяжёлым, отсутствующим, недовольным лицом. Не обнимает. Не улыбается. Стоит как чужой, отбывающий повинность.

Андрей смотрел на этот снимок и чувствовал, как внутри что-то холодеет и проваливается. Потому что он узнал это лицо. Не лицо незнакомого деревенского мужика. Выражение. Эту позу — рядом, но не вместе. Этот взгляд мимо — когда ребёнок весь сияет, тянется, ждёт хоть слова, хоть кивка, а отец смотрит в сторону, будто сын ему в тягость.

Это было лицо его собственного отца.

Андрей опустил на кадушку, поставил альбом на колени. Лампочка качалась на проволоке, тени ходили по стенам чулана. Он смотрел на чужую фотографию, а видел своё.

Ему тоже было лет десять. Они с отцом тоже однажды поехали на рыбалку — единственный раз за всю жизнь, под Можайск, на водохранилище. Мать насилу уговорила отца взять мальчишку с собой. Андрей не спал всю ночь от радости — отец, только он и отец, целый день вдвоём. Он наловил тогда — мелочи, конечно, плотвичек, окушков, — но для него это был улов всей жизни. Он показывал отцу каждую рыбку, ждал — ну скажи, ну похвали, ну хоть посмотри. А отец сидел над своими снастями, мрачный, с похмелья, и буркал: «Не дёргай. Спугнёшь. Сиди тихо». А когда Андрей зацепил крючком корягу и оборвал леску, отец сорвался: «Руки-крюки. Ничего тебе доверить нельзя. Весь в мать».

Весь в мать. Это было худшее ругательство в устах отца. И Андрей это услышал в десять лет, над оборванной леской, в единственный их совместный день на воде.

Он сидел в чулане, держал чужой альбом, и эта старая, заросшая, забытая боль поднималась в нём, как вода в той луже под Тверью, — медленно, неотвратно, заливая всё.

Отец никогда его не хвалил. Никогда. Ни за пятёрки — «а чего ты хотел, для себя учишься». Ни за поступление в институт — «посмотрим, чем кончится». Ни за первые деньги, первую квартиру, первую машину. Андрей привозил ему — уже взрослый, уже с деньгами, — привозил подарки, тянул показать, чего добился: вот, отец, смотри, я смог. А отец крутил подборок в руках, откладывал и говорил что-нибудь вроде: «Лучше б матери помог» или «Деньги-то откуда, не наворовал ли». И отворачивался. Смотрел в сторону. Как этот мужик на фотографии. Мимо.

И Андрей всё доказывал. Всю жизнь доказывал. Зарабатывал — чтобы отец увидел. Расширял бизнес — чтобы отец признал. Брал на себя риски, лез в авантюры, гнал, гнал, гнал

— а где-то на самом дне всего этого сидел десятилетний мальчишка с плотвичкой на крючке, который всё ждал, что отец повернётся и скажет: «Молодец, сынок».

Отец умер шесть лет назад. Инфаркт, прямо на даче, копал картошку. Андрей прилетел на похороны из командировки, стоял у гроба и не чувствовал ничего — пусто было, как выпотрошено. А на поминках напился так, как не напивался никогда, и его увезли. И сказать отцу он так ничего и не сказал. И отец ему — тоже. Так и разошлись, не сказав. И теперь уже не скажут никогда.

Андрей перевернул страницу дальше. Тот же мальчишка, постарше уже, подросток, — стоит у этого дома, насуленный, руки в карманах. А вот выпускной — в плохо сидящем костюме, с той же отцовской складкой меж бровей. Вырос. Уехал, наверное. В Германию вон уехал, в итоге. Подальше от отца, который смотрел мимо.

«Может, и он, как я, — подумал Андрей. — Может, и он всю жизнь чего-то отцу доказывал. И уехал за тыщу вёрст, а всё равно — не отпускает. И альбом этот тут бросил, потому что смотреть на него не может. На это вот лицо».

Он закрыл альбом. Открыл снова. Опять нашёл ту рыбалку. Долго смотрел на отца с фотографии — на чужого деревенского мужика, который умер бог знает когда, которого он в глаза не видел. И вдруг поймал себя на том, что говорит ему — вслух, сквозь зубы, тихо и зло:

— Ну что тебе стоило. А? Что тебе стоило обнять. Сказать слово. Пацан же рад. Ну посмотри ты на него, дурак старый. Посмотри.

Голос сорвался. Он понял, что говорит не этому мужику. Говорит своему отцу. Через тридцать лет, через смерть, через всё — говорит то, что не сказал никогда. И что внутри жгло так, будто только вчера случилось.

Злость поднималась горячая, тёмная. На отца. За то, что не любил. За то, что не сказал. За то, что умер, не сказав, и теперь спросить не с кого, и доказывать некому, а привычка доказывать осталась, и без неё Андрей не знает, кто он и зачем. Всю жизнь строил себя на том, чтобы переупрямить отцовское молчание. А отца нет. И стройка эта рухнула. Вот она — лужа под Тверью. Вот он — пустой дом. Вот оно — «зачем я живу».

Он швырнул альбом на газеты, встал, вышел из чулана, хлопнув низкой дверцей. Прошёл по комнате. Сел. Снова встал. Подошёл к печи, оперся о тёплый бок, прижался лбом к побелке. Внутри всё дрожало.

«Весь в мать». «Руки-крюки». «Не наворовал ли». «Лучше б матери помог».

Голос отца — тяжёлый, прокуренный, недовольный — стоял в голове так ясно, будто отец сидел тут, в углу, на лавке. Андрей всю жизнь от этого голоса бежал. И прибежал в глушь, в чужой дом, где в чулане лежит чужой альбом с тем же самым лицом. От себя не убежишь. И от отца, оказывается, тоже — он внутри сидит, в самой сердцевине, и оттуда правит всей жизнью.

Андрей вернулся в чулан. Поднял альбом с пола — отчего-то стало совестно, что швырнул чужое. Отряхнул. Сел опять на кадушку и стал листать дальше, до конца. Последние страницы были пустые — жизнь оборвалась раньше, чем кончился альбом. И только на самой последней, отдельно, был вложен, не вклеен, один снимок. Поздний, уже цветной, выцветший в желтизну.

Тот же отец, совсем старый, согбенный, сидит на лавке у дома. А рядом — взрослый сын, тот самый мальчишка с рыбалки, приехавший, видно, в гости из своей Германии. И вот тут отец — улыбается. Криво, неловко, непривычно, будто разучился, — но улыбается. И руку держит на плече у сына. Тяжёлую, неуклюжую, но — на плече. Обнял. Под старость. Перед самым, наверное, концом. Успел.

Андрей смотрел на этот последний снимок, и горячее, злое в груди вдруг переломилось во что-то другое — в тоску, в жалость, в плач без слёз. Этот чужой мужик успел. Под старость, неумело, но повернулся к сыну, обнял, улыбнулся. А его, Андрея, отец — не успел. Или не захотел. И уже не повернётся, не обнимет, не скажет. Никогда.

И сам Андрей — он-то что? Он злится на отца тридцать лет. А кому он сам сказал доброе слово? Жене — которая ушла? Матери — от чьей жалости отмахивался? Кого он обнял, кого похвалил, кому посмотрел в глаза, а не мимо? Он же сам стал таким. Смотрящим в сторону. Занятым своим. Гонящимся. Точь-в-точь как отец у воды — рядом, но не вместе.

Он сидел в чулане до глубокой ночи. Лампочка качалась, тени ходили. За стеной потрескивала остывающая печь. Альбом лежал у него на коленях, открытый на той последней фотографии — на неловком стариковском объятии.

Где-то под утро Андрей закрыл альбом. Не положил обратно в ящик, под газеты, — а взял с собой, в комнату. Поставил на стол, прислонив к стене, как ставят икону или портрет. Чужой альбом, чужая жизнь. Но в ней было всё его, до последней складки меж бровей.

Он лёг не раздеваясь, поверх одеяла, и долго смотрел в потолок, в темноту. Спать не мог. В голове крутилось одно и то же — рыбалка, плотвичка, «руки-крюки», взгляд мимо. И последнее объятие чужого старика.

«Поговорить бы, — думал он. — С кем. С отцом нельзя — мёртвый. С собой не получается — заклинивает. С Игнатом разве. Завтра. Расскажу Игнату».

Раньше он бы скорее умер, чем стал бы вываливать первому встречному стариковское своё, самое больное, самое стыдное — про отца, про нелюбовь, про мальчишку с удочкой. Он и психологу-то, к которому жена когда-то его таскала, двух слов не сказал, всё отшучивался. А теперь — хотелось. Хотелось вынуть это из себя и положить перед кем-то, кто не осудит, не пожалеет приторно, не отмахнётся. Перед Игнатом.

Андрей закрыл глаза. Перед веками стояло то лицо с фотографии — отцовское, недовольное, отвёрнутое. А рядом, поверх, наплывало другое — последнее, со стариковской кривой улыбкой и рукой на плече. Два лица одного человека. И между ними — целая жизнь, которую можно было прожить иначе, да не успели, не сумели, не повернулись вовремя.

«Я ещё могу повернуться, — подумал он сквозь подступающий тяжёлый сон. — Я-то живой. Я ещё успею. К матери хотя бы. Сказать ей. Что-нибудь сказать».

Мысль была новая, непривычная, и от неё было больно и легче разом — как когда вправляют вывих.

Под утро он наконец задремал — тяжело, ненадолго. И снилась ему опять река, и удочка, и мелкая рыбёшка, серебром блеснувшая на крючке. Только в этот раз во сне отец повернулся. Посмотрел. И что-то сказал — Андрей не расслышал, что, но лицо было доброе. И от этого недослышанного доброго слова он и проснулся — с мокрыми щеками, в сером рассвете, с чужим альбомом на столе, прислонённым к стене.

За окном начинало светать. На столе стоял бордовый бархатный альбом. А в груди, поверх старой саднящей боли, лежало твёрдое, ясное намерение: рассказать. Сегодня же. Игнату. Всё, как есть.

Глава 10. Дом, который построил отец



Утро было ясное, с лёгким морозцем. За ночь подсохло, лужи во дворе подёрнулись тонкой ледяной коркой, и трава на огороде стояла белая, схваченная инеем. Андрей не стал ждать, пока день разгуляется. Едва рассвело, он сунул чужой альбом под мышку и пошёл к Игнату — по своей тропке, через два двора, мимо стылой берёзы.

Игнат уже встал. Сидел на крыльце в телогрейке, пил из кружки что-то горячее, парившее на холоде, и смотрел на восходящее солнце над рекой. Увидел Андрея — кивнул, как кивают тому, кого ждали. И на альбом под мышкой глянул, и на лицо — не выпавшееся, серое, с красными глазами, — глянул, но ничего не спросил. Подвинулся на лавке.

— Садись. Чай в доме, наливай себе. Холодно тут, да больно уж рассвет хорош. Жалко в избе сидеть.

Андрей налил себе чаю, вернулся, сел рядом. Альбом положил на колени. Помолчали. Солнце поднималось, иней начинал плавиться, с крыши закапало. Над рекой стоял пар, и в нём, как в молоке, тонул дальний берег.

— Я ночь не спал, — сказал наконец Андрей. — В чулане разбирался. Нашёл вот.

Он раскрыл альбом, полистал, нашёл ту страницу. Молча протянул Игнату. Старик взял, отставил кружку, долго смотрел на снимок — на отца с сыном у воды, на рыбёшку, на отвёрнутое тяжёлое лицо.

— Это Лизкины, — сказал он тихо. — Митяй с Генкой. Митяй, отец-то, помер давно, ещё при мне, лет двадцать назад. Пил крепко. А Генка вон, в Германию уехал. — Он покивал, потрогал пальцем уголок фотографии. — Знал я их. Сосед.

— Я его не знал, — сказал Андрей. — А смотрю — и будто своего отца вижу. Один в один. Лицо. Вот это вот — мимо. Когда пацан рад, тянется, а отец — мимо.

Он замолчал, сглотнул. Игнат не торопил. Закрыв альбом, положил рядом, на лавку, бережно. И стал слушать — всем телом, всем своим спокойствием. Так слушать, что молчать дальше было нельзя.

И Андрей заговорил. Сначала тяжело, спотыкаясь, потом всё ровнее, всё быстрее — будто прорвало плотину, которую он держал тридцать лет. Про рыбалку под Можайском. Про «руки-крюки» и «весь в мать». Про то, как ни разу — ни разу за всю жизнь — отец его не похвалил. Про пятёрки, про институт, про первые деньги. Как привозил подарки, а отец откладывал, не глядя: «лучше б матери помог», «не наворовал ли». Про похороны, на которых он ничего не почувствовал и напился до беспамятства. Про то, что так и не сказали друг другу ни слова — и теперь уже не скажут.

— И вот что обидно, Игнат Петрович, — говорил он, глядя в стынувший чай. — Я ведь всё это — бизнес, деньги, гонку, — я всё это, выходит, для него делал. Чтоб он повернулся и сказал: молодец, сынок. Я только сейчас понял. Ночью. Я всю жизнь доказывал мёртвому уже человеку. А он не повернулся бы. Никогда. Ни живой, ни мёртвый. И я — дурак, я тридцать лет об эту стену головой бился. И разбил голову. И вот сижу тут, с разбитой головой, в чужом доме, и злюсь на него так, будто он вчера это сказал. Будто рана вчерашняя.

Он умолк. Солнце поднялось, иней сошёл, двор заблестел мокро и ярко. Где-то застрекотала сорока.

Игнат долго молчал. Потом спросил — не про отца, неожиданно:

— А ты вон тот дом видишь? Свой, который снял. С синими наличниками.

Андрей обернулся. Дом его, Лизкин, стоял третьим от края — серый, бревенчатый, кое-где подгнивший, с покосившимся крыльцом, но крепкий ещё, основательный.

— Вижу. Ну.

— Этот дом Митяй и строил. Отец Генкин. Тот самый, что на тебя с фотокарточки мимо смотрит. — Игнат кивнул на снимок. — Своими руками. Я помню, я уж тут жил. Лес сам валил, сам возил, сам венцы клал. Печь сам сложил — ту, что ты топишь. Хорошая печь, ровно греет, не дымит. Это он умел. Руки золотые были у Митяя, что говорить. Дом справный поставил, на сто лет. Ты вот в нём зиму перезимуешь — и спасибо ему скажешь, что тепло держит.

Андрей молчал, не понимая, к чему старик клонит.

— А вот сына обнять не умел, — продолжал Игнат. — Дом построить — умел. А сына похвалить — нет. И ты сейчас, Андрюш, сидишь в доме, который он построил, греешься у печи, которую он сложил, — и злишься на него за то, чего он не умел. Чуешь, как оно вышло-то?

Андрей замер. Эта простая мысль — что он сидит в отцовском, по сути, доме чужого отца и греется его теплом, проклиная при этом своего, — повернула что-то у него внутри.

— Я к чему, — сказал Игнат, помолчав. — У каждого отца есть то, что он умел, и то, чего не умел. И почти всегда выходит так, что построить дом — умеют, а обнять — нет. Сделать руками — умеют, а сказать сердцем — нет. Поколение такое было, да и не одно. Война, голод, тяжесть. Их самих никто не обнимал. Их самих лупили да гнули. Им неоткуда было взять это тепло — им его не дали. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Понимаешь? Твой отец не дал тебе любви не потому, что у него она была, да он пожалел. А потому, что ему её самому никто не дал. Он тебе отдал, что имел: крышу, еду, ремесло, может. А тепла у него в закромах не было. Пусто было. Откуда взять.

— Это что, оправдание ему? — глухо спросил Андрей. — Что, мол, его не любили, поэтому и он имел право?

— Не оправдание, — спокойно сказал Игнат. — Объяснение. Это разные вещи. Оправдать — это сказать «он прав был». Нет, не прав. Ребёнка надо любить, и точка, и плохо, что не любил, и больно тебе по делу. А объяснить — это понять, отчего так вышло. И понять не для него. Для себя. Чтоб тебя самого отпустило. Пока ты думаешь, что он мог дать, да не дал, нарочно, назло, — ты будешь грызть себя и его до конца дней. А как поймёшь, что он не мог,

что нечем было, — тут злость-то и переходит в жалость. А жалость, Андрюш, лечит. Злость жжёт, а жалость лечит.

Андрей смотрел на дом с синими наличниками. На крепкие, потемневшие от времени венцы. На трубу, из которой ещё с вечера тянуло его дымом.

— Я никогда так не думал, — сказал он. — Что ему самому не дали. Я как-то... он всегда был для меня просто — стеной. Глыбой. Которая молчит и осуждает. А что он сам когда-то был пацаном, и его тоже не похвалили ни разу... это мне в голову не приходило.

— А ты подумай, — сказал Игнат. — Твой дед каким был? Отец твоего отца.

Андрей задумался. Деда он почти не помнил — тот умер рано. Но что-то всплыло — рассказы матери, обрывки. Дед был с фронта, контуженный, тяжёлый на руку. Бабку гонял, детей лупил жезлами за всякую провинность. Отец рос в страхе, в работе, в окриках. Старший из пятерых, тянул хозяйство сызмальства.

— Суровый был, — сказал Андрей медленно. — Фронтовик. Бил их. Отца — старшего — больше всех. Я как-то и не связывал...

— Вот, — кивнул Игнат. — Видишь, как тянется. Деда твоего его отец небось тоже не гладил — тогда время такое было, голод, революция, не до нежностей. Дед — отца твоего. Отец — тебя. Это, Андрюш, как ведро дырявое из рук в руки передают. Каждый получил дырявое — и дальше отдал дырявое. И в каждом колене кто-то злится на предыдущего: «что ж ты мне целого не дал?» А тот и сам целого в руках не держал.

Он повернулся к Андрею, посмотрел прямо.

— И вот тут — самое важное. Слушай. На тебе эта цепочка может оборваться. Понимаешь? Дед не мог. Отец не мог. А ты — можешь. Потому что ты сейчас сидишь и об этом думаешь. А они не думали — некогда было, да и не научены. Ты первый в роду, кто остановился и посмотрел на это дырявое ведро. И сказал: стоп. Дальше я дырявое не передам. Я его залатаю. Хоть на себе.

— Как залатать-то? — Андрей повернулся к нему. — Отца нет. С ним уже ничего не выяснишь, не помиришься.

— А с ним и не надо мириться через слова, его нет. — Игнат поднял палец. — С ним мириться надо внутри себя. Это тут делается. — Он постучал себя по груди. — Ты вот что пойми. Обида на отца — она ведь не отца держит. Отцу твоему уже всё равно, он шесть лет в земле, ему ни жарко ни холодно от твоей злости. Обида держит тебя. Это твоя ноша, не его. Ты её таскаешь. Тридцать лет на горбу таскаешь мешок с камнями и думаешь, что этим отца наказываешь. А наказываешь себя. Отцу — ничего. Тебе — горб кривой.

Андрей слушал, опустив голову. Старик говорил то, чего он сам себе сказать не мог, — называл вещи прямо, без жалости и без злости.

— Я тебе так скажу, — продолжал Игнат. — Простить отца — это не значит сказать, что он был хороший и всё делал правильно. Нет. Простить — это положить мешок. Вот эти камни, которые ты тридцать лет таскаешь. Сказать: всё, отец, не могу больше тебя на горбу носить. Ты был, какой был. Не умел. Я понял. Я тебя отпускаю — и сам становлюсь свободен. Не ради тебя отпускаю — ради себя. Чтоб мне дальше идти налегке.

— А он-то — отпустит ли меня? — вырвалось у Андрея, и он сам удивился вопросу. — Я ведь так и не услышал. «Молодец». Хоть бы раз.

Игнат помолчал. Потом сказал мягко:

— А ты сам себе скажи. Ты ждёшь этого слова от него тридцать лет. А он не скажет — нечем, нет его. Так скажи себе сам. Ты, Андрюш, мужик. Бизнес поднял, дом держал, людей кормил. Упал — да встал, не спился, не удавился, приехал вон, тропу со мной расчищаешь, печь топишь, в себе копаешься, не бежишь от боли. Это и есть «молодец». Не жди от мёртвого. Возьми у себя. Ты сам себе теперь и отец. Хочешь похвалу — похвали. Хочешь обнять —

обними того пацана внутри, который с плотвичкой стоял. Никто за тебя этого не сделает. Отца нет. А ты — есть.

У Андрея защипало в глазах. Он отвернулся к реке, к пару над водой, чтоб старик не видел. Но Игнат и не смотрел — смотрел на свой восход, давал человеку справиться.

— Я матери позвоню, — сказал Андрей через минуту, справившись с голосом. — Я ей лет десять ничего, кроме «нормально, ем, сплю», не говорил. Отмахивался от её жалости. А она ведь... она-то любила. По-своему, заполошно, через жалость, но любила. А я морщился. Я и от её любви морщился — потому что от отца ждал, а она не отец, её любовь мне не та казалась.

— Вот, — тихо сказал Игнат. — Вот это ты хорошо понял. Часто так и бывает. Один родитель не даёт — а ты от второго отворачиваешься, потому что не от того ждёшь. И остаёшься вовсе ни с чем — по своей же дури. А любовь-то была. Просто не в той упаковке, в какой ты заказывал. Позвони матери. Сегодня позвони. Не тяни. Она старая уже?

— Шестьдесят восемь.

— Звони. Пока есть кому. Это, Андрюш, такая штука, которую только живым успеть можно. С отцом ты опоздал — внутри теперь доделывай. А с матерью не опаздывай. А то будешь потом второй альбом по чуланам находить да над ним выть.

Они посидели ещё. Солнце поднялось высоко, стало почти тепло, по-осеннему ласково. С реки потянуло свежестью. Игнат взял альбом, ещё раз глянул на снимок Митяя с Генкой, покачал головой.

— Бедный Митяй, — сказал он. — Дом построил на сто лет, а сына потерял. Генка ведь от него и сбежал, в Германию-то. От нелюбви бежал, как ты от своей в эту глушь приехал. Все мы куда-то бежим от того, что дома недодали. — Он закрыл альбом, отдал Андрею. — А ты этот альбом-то сохрани. Не выбрасывай. Это тебе не зря попало. Это тебе зеркало дали. Чтоб ты на чужого отца посмотрел — и своего разглядел. И себя заодно.

Андрей взял альбом, прижал к груди.

— Спасибо, — сказал он. И в этот раз слово вышло легко, не через силу.

— Иди матери звони, — сказал Игнат, поднимаясь с лавки, кряхтя. — А после обеда заходи — крыльцо мне поможешь чинить, совсем перекосило, того гляди нога провалится. Заодно покажу тебе одну штуку про доски. Тоже, считай, про отцов разговор будет, только руками.

Андрей пошёл к себе. У калитки остановился, обернулся на дом — на серые крепкие венцы, которые сложил чужой нелюбящий отец, на печь за стеной, что грела его все эти ночи. И посмотрел на этот дом не как на временное пристанище, а как на чьё-то наследство. Кто-то клал эти брёвна, потел, мерил, подгонял. Умел делать руками. Не умел любить. Как и его, Андрея, отец.

Дома он достал телефон. Сети, как всегда, почти не было — одна палочка дрожала. Он вышел на крыльцо, поднял аппарат повыше, поймал тонкий сигнал. Набрал мать. Долго шли гудки — она у телефона ходила медленно. Потом щёлкнуло.

— Андрюшенька? — голос испуганный, как всегда, готовый к беде. — Что случилось? Ты заболел?

— Ничего, мам. Ничего не случилось. — Он сглотнул. Помолчал. — Я просто... позвонить хотел. Узнать, как ты. Как ты там?

На том конце замолчали. Потом мать заплакала — тихо, всхлипывая, не от горя, а от другого.

— Да что ты, сынок... — выговорила она. — Я хорошо. Я живу. Ты-то как, родной?

И Андрей, стоя на холодном крыльце чужого дома, который построил чужой нелюбящий отец, держа у уха телефон с дрожащей одной палочкой связи, сказал матери то, чего не говорил ей лет двадцать:

— Я тоже хорошо, мам. Правда хорошо. Ты не плачь. Я тебе теперь часто звонить буду. И приеду скоро. Соскучился я.

Он говорил, и в груди, поверх старой саднящей боли по отцу, поднималось что-то новое, тёплое и живое. Цепочка, про которую говорил старик. Дырявое ведро. Может, и правда — на нём оборвётся. Может, он первый в роду, кто научится не только строить дом, но и сказать вслух простое, тёплое, живое.

За рекой вставало солнце. Мать на том конце вытирала слёзы и смеялась сквозь них. А Андрей стоял и держал трубку, и ему было — хватало. Странное, забытое слово. Хватало.

Глава 11. Ремонт крыльца



После обеда Андрей пришёл к Игнату, как уговорились. Мать он позвонил сразу же, ещё утром, и потом весь день ходил с этим разговором внутри — лёгким, непривычным, будто проглотил что-то тёплое, и оно грело изнутри. Звонок вышел недолгий, бестолковый: «как ты», «а ты как», «ешь ли», «приеду». Но это был первый за двадцать лет разговор, в котором он не отмахивался от матери, а слушал. И она это услышала — голос у неё к концу разговора стал другой, помолодевший, что ли.

Игнат уже возился у крыльца. Снял с него половик, отодвинул к стене старую кадку с дождевой водой и теперь стоял, упёршись руками в бока, и хмуро разглядывал ступени.

— Вот, гляди, — сказал он Андрею вместо приветствия. — Дожилося. Совсем перекосило. С той недели как наступишь на верхнюю — она и ухаёт, ходуном ходит. Того гляди провалюсь да ногу сломаю. А мне в моём возрасте ногу ломать — последнее дело, не срastётся уже толком.

Крыльцо и правда осело набок. Три ступени, площадка, навесик на двух столбах. Дерево потемнело от времени, краска — когда-то синяя, под цвет наличников, — облупилась, висела чешуйками. Андрей попробовал верхнюю ступень ногой — она просела, мягко спружинила, и снизу донёсся глухой нехороший звук, будто наступил на тухлявый пень.

— Гнилая, что ли? — спросил он.

— Сейчас поглядим. Неси инструмент. — Игнат кивнул на сарай. — Гвоздодёр там, на стене, и молоток. И ломик прихвати, который поменьше.

Андрей принёс. Игнат опустил на корточки — кряхтя, держась за столб, — поддел гвоздодёром край верхней доски. Гвозди завизжали, нехотя полезли из старого дерева. Доска отошла. И под ней открылось то, чего Андрей не ожидал: вся изнанка ступени была чёрная,

влажная, рыхлая. Дерево не держалось — оно крошилось под пальцами, как мокрый хлеб, расплзалось бурой трухой. Из-под доски пахло сыростью, прелью, грибным духом.

— Во, — сказал Игнат, отламывая кусок гнилья и растирая в пальцах. — Видал? Снаружи доска как доска. Покрашена, стоит, держит. А внутри — труха. Гниль. Сырость снизу подошла, годами точила, а сверху и не видать было. Краска держала вид.

Андрей присел рядом, потрогал. Дерево раскисло, под ногтем оставалась тёмная мякоть.

— И давно она так?

— Да года три, поди. А может, и пять. Гниль — она не сразу. Сперва пятнышко, потом мокнет, потом труха. Тихо идёт, исподволь. Ты ходишь по крыльцу, и оно вроде держит, и думаешь — всё путём. А оно уж изнутри съедено. До поры держит. А потом — хрясь, и нога в дыре.

Он поднялся, отряхнул руки.

— Ну, бери, отдирай дальше. Всю доску снимай. И ту, что под ней, лагу, посмотреть надо — не пошла ли и она.

Андрей взялся за гвоздодёр. Работа была неловкая — гвозди старые, ржавые, сидели намертво, дерево вокруг них раскрошилось, и подцепить было не за что. Он пыхтел, дёргал, один гвоздь сломался, обломок остался в доске. Игнат смотрел, не вмешивался, только изредка подсказывал, куда поддеть, под каким углом.

Наконец верхнюю доску сняли целиком. Под ней обнажилась лага — поперечный брус, на котором держались ступени. Игнат потыкал в неё ломиком. Один край был ещё крепкий, звонкий, а другой, ближе к земле, к сырости, — поддавался, проминался.

— И лага тронута, — сказал старик. — Но не вся, краем. Этот край менять, а остальное ещё постоит. — Он распрямился, потёр поясницу. — Так. Доску новую возьмём в сарае, у меня доска сухая припасена, лежит под навесом, как раз на такой случай. И брусок на лагу. Пойдём отмерим.

Они пошли в сарай. И вот тут Андрей, глядя на эту грязную возню, на гнилую труху, на то, сколько мороки — отдирать, мерить, пилить, ставить новое, — сказал то, что подумал бы любой нормальный городской человек на его месте:

— Игнат Петрович, а может, ну её? Чего возиться-то. Давайте просто сверху новую доску набьём, на старую. Или вот — зачистим, что отвалилось, да закрасим заново. Краски положим погуще. Снаружи видно не будет, держать будет. А то полдня провозимся с этой заменой.

Игнат остановился. Посмотрел на Андрея — без насмешки, но так, что тому самому стало неловко за свои слова, ещё прежде, чем старик открыл рот.

— Закрасить, говоришь.

— Ну да. Быстрее же. И с виду — как новая.

Игнат покачал головой. Медленно, основательно.

— Нет, Андрюш. Так нельзя. Закрасить гниль — это самое последнее дело. Хуже, чем вовсе не трогать. — Он взял с верстака сухую доску, прикинул на вес, постучал по ней костяшками — доска отозвалась звонко, чисто. — Вот слушай. Гниль — она живая. Это не грязь, которую закрасил, и нет её. Это грибок. Зараза. Она ест дерево и расплзается дальше. Закрасишь ты её сверху — а она под краской, в тепле да сырости, ещё веселей пойдёт. Ты ей крышу сделал, парник. Она с этой доски на лагу перекинется, с лаги на столб, со столба на сруб. Год, два, три — и весь угол дома просядет. И тогда уже не доску менять, а полдома перебирать. Понимаешь? Закрасил — значит, спрятал. А спрятанная гниль не останавливается. Она только в глубину уходит, где её не видно, и оттуда жрёт.

Он положил доску, посмотрел на Андрея.

— Гниль, чтоб от неё избавиться, надо вырезать. Всю, до здорового дерева. Выпилить, выкинуть, а на её место — новое, сухое, чистое. Только так. Других способов нет. Замазать,

закрасить, прикрыть половичком — это себя обмануть. День простоит, а потом всё одно провалится, только хуже и глубже.

Они отмерили, отпилили новую доску по размеру старой. Вынесли к крыльцу. Игнат показал, как вырубить гнилой край у лаги — топориком, аккуратно, снимая чёрное до светлого, звонкого дерева. Андрей рубил, а старик смотрел и говорил:

— Вот, до чистого. Видишь — пошло светлое, плотное? Тут уже здоровое. Тут остановилась зараза. Сюда и будем новое прилаживать. На гнилое новое не ставят — оно и новое сгноит. Только на чистое, на здоровое.

Работали часа два. Вырубили гниль, зачистили лагу, прибили на её край свежий брусок — Игнат смазал его перед этим чем-то остро пахнущим, дёгтем пополам с олифой, «чтоб сырость не брала». Потом подогнали новую доску ступени. Она легла не сразу — Андрей пилил, подстрагивал, примерял по нескольку раз, и каждый раз что-то не сходилось: то широка, то с перекосом. Игнат не торопил, не отбирал работу, только поправлял: «тут сними миллиметр», «тут подтеши». Наконец доска села плотно, ровно, без щели.

— Гвозди не на край бей, — учил Игнат. — На край ударишь — расколешь, и опять щель, опять сырости ход. Отступи. И бей не с маху, а в три-четыре удара, чтоб не согнуть.

Андрей прибывал. Первый гвоздь согнул, выдернул, вбил новый — этот пошёл ровно. Второй, третий. Доска держалась. Он наступил на неё — твёрдо, без скрипа, без той гнилой мягкости. Под ногой было крепко.

— Вот, — удовлетворённо сказал Игнат, тоже наступив, проверив. — Теперь стоит. Теперь лет двадцать простоит, если красить вовремя да воду отводить.

Они отступили, посмотрели на дело рук своих. Новая доска светлела свежим срезом среди старых, потемневших — заплата, чистая, явная, не спрятанная. Игнат провёл по ней ладонью.

— Покрасим потом, как высохнет да дёготь возьмётся. Под цвет подгоним, сравняем. Но это уже не для крепости, это для виду. Крепость-то — вот она, внутри. Гнилое вынули, здоровое поставили. Теперь хоть крась, хоть не крась — держать будет.

Они сели на готовое крыльцо передохнуть. Солнце клонилось, золотило реку. Андрей смотрел на свежую доску, на чёрную труху, сметённую в кучу у ступеней, — то, что они вырезали и выбросили. И думал. Что-то в этой простой работе зацепило его, легло не только в руки, но и глубже.

— Игнат Петрович, — сказал он. — А ведь это вы не зря. Про гниль.

— Что не зря? — Старик прищурился на солнце.

— Ну вот это всё. Про то, что закрасить нельзя, что вырезать надо до здорового. Это ведь не только про доску.

Игнат усмехнулся в усы. Достал кисет, стал сворачивать самокрутку — он редко курил, по особым случаям, и это, видать, был один из них.

— А ты приметливый стал, Андрюш. Раньше бы не заметил. Только б ворчал, что полдня на доску убили. — Он чиркнул спичкой, закурил, выпустил дым. — Ну а коли заметил — сам и подумай. Чего у тебя там, внутри, гнилого. Закрашенного. Чего ты годами половичком прикрывал да краской подмазывал, чтоб с виду держало.

Андрей помолчал. Глядел на чёрную труху.

— Обида, наверное, — сказал он медленно. — На отца. Я ведь её всю жизнь... не лечил, а как раз закрашивал. Делом закрашивал, деньгами, гонкой. Сверху — успешный мужик, бизнес, машина, всё путём. А внутри — вот эта вот труха. Гнилая доска. И я по ней ходил и думал — держит. А она меня всё это время жрала. Изнутри. Я только сейчас, тут, у вас, понял, насколько глубоко прогнило.

— Вот, — кивнул Игнат, попыхивая. — Вот ты сам всё и сказал. Я и не учил даже. Доска научила.

— А вы вчера говорили — простить. Положить мешок. Это, выходит, и есть — вырезать гниль? До здорового?

— Это самое и есть, — серьёзно сказал старик. — Только это, Андрюш, потяжелей, чем доску менять. Доску-то вырезал — она не орёт, не сопротивляется. А свою гниль вырезать — это больно. Это всё равно что живое резать. Кровь идёт. Потому люди и предпочитают закрашивать. Это ж легче. Замазал обиду — улыбайся, говори «да всё нормально, давно простил». А оно не прощено, оно под краской сидит и гниёт дальше. И с человека на человека перекидывается — как с доски на лагу. С отца — на сына. С сына — на внука.

Он стряхнул пепел.

— Ты вон сам вчера про цепочку понял. Дед, отец, ты. Это она и есть, гниль-то родовая. Из колена в колено покрашенная. Никто не вырезал — все прятали. И передавали дальше, спрятанную. А ты — взялся вырезать. На себе. Это, я тебе скажу, дело покрепче любого бизнеса. Тут мужество нужно. Больше, чем миллионы наживать.

Андрей смотрел на новую доску. Светлую, чистую, плотно вставшую на место чёрной трухи.

— А чем вырезать-то? — спросил он. — Доску — топориком да пилой. А это, внутри, чем?

Игнат докурил, затушил окурок о подошву, спрятал в карман — на землю не бросил.

— А разное есть. — Он подумал. — Прежде всего — назвать. Вынуть на свет. Вот ты вчера назвал — рассказал мне про отца, про рыбалку, про «руки-крюки». Это уже первое — ты гниль из-под краски достал, на свет вынул, признал: вот она, гнилая, и я её ношу. Пока прячешь — не вырежешь. Сперва назови, не бойся.

— А потом?

— А потом — выговорить надо. До конца. Не мне даже — а тому, на кого обида. Отцу. Он мёртвый, да это неважно. Сказать ему всё, что не сказал. Всю злость, всю боль — выпустить. Не в себе держать, не глотать обратно. Знаешь, как нарыв — пока не вскрыешь, не выйдет гной, не заживёт. Вот так и тут. Письмо ему напиши, что ли. Мёртвому письмо. Никто его не прочтёт — да тебе и не для него надо, а для себя. Чтоб вышло из тебя.

Андрей удивлённо поднял голову.

— Письмо? Мёртвому отцу?

— А что такого. — Игнат пожал плечами. — Не я придумал, люди давно так делают. Бумага, она всё стерпит. Сядешь, напишешь — всё, что накопело. Без оглядки. Может, изорвёшь сперва, может, переписывать будешь. А под конец, гляди, и доброе слово найдётся. Что-нибудь да было ж доброе. Дом вон построил, печь сложил, ремеслу, может, чему научил, на ту же рыбалку взял разок. Найди. Не для него — для себя. Поблагодари за то малое. Этим и вырежешь. Этим и заменишь гнилое на здоровое.

Они посидели ещё в тишине. Андрей смотрел на реку, на свежую доску под ногами, на кучку чёрной трухи. Всё в нём было непривычно тихо и собранно — как бывает после правильно сделанного дела.

— Я попробую, — сказал он. — Письмо. Сегодня.

— Не торопись «сегодня», — мягко сказал Игнат. — Когда само пойдёт. Само подскажет. Я тебя не гоню. Гниль годами копилась — не за вечер выходит. Но раз надумал — не откладывай в долгий ящик. А то опять закрасишь да забудешь.

Он встал, кряхтя, собрал инструмент. Андрей помог. Они отнесли гвоздодёр, молоток, остатки доски в сарай. Чёрную труху Игнат велел не выбрасывать на огород — «зараза, ещё что путное сгноит», — а сжечь. Развели в железной бочке маленький огонь, кинули гнилое дерево. Оно горело плохо, дымно, сырое.

— Вот так и обиду, — сказал Игнат, глядя в бочку. — Вырезал — и сожги. Не таскай за собой выпиленное, не любуйся на труху. Сжёг — и нет её. Пепел только. А пепел — он землю

удобряет. Вот и от твоей боли, как перегорит, тоже что-нибудь да вырастет. Доброе. Так всегда — где гниль сожгли, там после самое хорошее и родится.

Андрей смотрел в огонь. Дым ел глаза. Гнилое дерево тлело, чернело, рассыпалось.

— Завтра расскажу, как письмо пойдёт, — сказал он.

— Расскажешь, — кивнул старик. — Или не расскажешь. Это, Андрюш, такое дело — можно и не рассказывать. Иное лучше при себе оставить, между собой да отцом. Главное — сделай. А слова потом.

Они стояли у бочки, грелись у огня, смотрели, как догорает труха. Над рекой садилось солнце. Новое крыльцо — с одной свежей, ещё некрашеной доской — держало крепко, не ухало, не проседало. Стояло на здоровом. И Андрей думал, что вот так же, доска за доской, придётся ему перебрать и себя. Вырезать чёрное, поставить чистое. Долго. Больно. Но иначе — провалишься. Иначе вся жизнь, как этот дом, изнутри сгниёт под слоем нарядной краски.

«Назвать, выговорить, поблагодарить, сжечь», — повторил он про себя стариковский порядок, простой, как порядок плотницкой работы.

Завтра он сядет писать письмо отцу. Сегодня — нет, рано. Сегодня надо просто постоять у огня, рядом со стариком, и дать чёрной трухе догореть до конца.

Глава 12. Почему мы обвиняем родителей?



Утро после ремонта крыльца выдалось пасмурным, но тёплым. Низкие тучи стояли над рекой неподвижно, не грозили дождём, просто висели серой пеленой, и в этой серости было что-то успокаивающее — мир будто притих, прислушался. Андрей встал поздно, выпавшись. Письмо отцу он так и не написал — не пошло вчера, рука не поднялась, и он не стал себя неволить, помня стариковское «когда само».

К Игнату он пришёл с утра, как повелось. Старик сидел на новом крыльце — на той самой ступени с непокрашенной свежей доской — и подшивал валенок, ловко, дратвой, прокалывая толстую кожу шилом. Рядом, на лавке, парили две кружки.

— Садись, — кивнул он. — Чай налил уже. Как спал?

— Хорошо спал, — сказал Андрей, садясь. — Давно так не спал.

— Это после работы. Тело устало честно — вот и спит честно. — Игнат отложил валенок, взял кружку. — А письмо?

— Не написал. Не пошло. Сел вчера, бумагу взял — и сижу как дурак. Не знаю, с чего начать. То ли «дорогой папа», то ли с матюгов. Всё фальшиво.

— Не торопись, я ж говорил. — Старик отхлебнул. — Само пойдёт, когда созреет. Мёд тоже силком из сот не выдавишь — раздавишь только. Дозреет — само потечёт.

Они помолчали. Андрей грел руки о кружку, смотрел на реку. В голове со вчерашнего вечера крутилась мысль — та, что про гниль, про обиду, про доску. Он покрутил её, повертел и наконец спросил то, что не давало покоя:

— Игнат Петрович. Вот я думаю. Мне тридцать восемь лет. Взрослый мужик. Отца шесть лет нет. А я всё равно — всё на него сворачиваю. И бизнес мой, и гонку, и пустоту эту. Будто он во всём виноват. Будто это он мне жизнь поломал, а я тут ни при чём, я жертва. И вроде

логично — он не любил, не хвалил, отсюда всё. А с другой стороны... ну сколько можно-то? Сколько можно на родителей валить? Это ж как-то... слабо, что ли. По-детски.

Игнат поставил кружку, посмотрел на него внимательно. Видно было — вопрос ему понравился, не пустой.

— Хороший вопрос, Андрюш. Правильный. Сам дошёл — это дорогого стоит. Большинство-то застревает на полпути. Поняли, что родитель виноват, — и всё, на этом и сидят. Всю жизнь сидят, до седых волос. Виноватого нашли — и довольны. А ты дальше глядишь. Это уже движение.

— Так виноват он или нет? — Андрей повернулся к нему. — Вот вы вчера сами говорили — не любил, не дал, цепочка эта, дырявое ведро. Значит, виноват. А сегодня я думаю — а может, хватит уже его винить? Где правда-то?

— А правда, Андрюш, она хитрая. Она в два этажа. — Игнат поднял два пальца. — Нижний этаж — да, виноват. Ребёнка надо любить, и кто не любил — тот не прав, и точка. Это мы вчера прошли. Тут я тебе ничего нового не скажу. Тебе по делу больно, и боль твоя законная. Но есть и верхний этаж. И вот на него мало кто залезает. А без него — застрянешь.

— Какой верхний?

Старик подумал, потёр бороду. Потом кивнул на свежую доску под собой.

— Помнишь вчера про гниль? Гнилую доску надо вырезать, а не закрашивать. Так?

— Так.

— А вот скажи. Доску мы вырезали. А что мы вчера весь день делали — кого винили? Прежнего хозяина, который доску вовремя не поменял? Сырость, которая её сгноила? Митяя, который крыльцо плохо от воды отвёл? — Игнат покачал головой. — Нет. Мы доску меняли. Не виноватого искали — а чинили. Вот в чём вся штука. Найти, отчего сгнило, — это полдела, и дело малое. А починить — это уже твоё, и дело большое.

Андрей слушал.

— Понимаешь, — продолжал Игнат, — когда человек обвиняет родителей, он первое время прав и делает нужное. Он называет гниль. Достает её из-под краски на свет. Говорит: вот тут у меня прогнило, и прогнило оттого, что отец не любил. Это честно. Это лечит — на первом шаге. Плохо другое. Плохо, когда человек на этом останавливается. Назвал виноватого — и всё, успокоился. Сидит на гнилой доске и пальцем тычет: это отец, это мать, это они меня такого сделали. А доска под ним так и гниёт. Он её не меняет. Он только знает теперь, отчего она гнилая. И этим знанием как будто гордится.

— Это про меня, — тихо сказал Андрей. — Я последние годы, когда совсем плохо было, я к психологу ходил. Жена таскала. И я там что делал? Я отца разбирал. Детство, обиды. И мне на время легчало — вот, нашёл, понял, откуда у меня всё. А потом выходил — и ничего не менялось. Тот же я. Те же грабли. Я понял отчего — а делать с этим ничего не делал.

— Вот, — кивнул Игнат. — Это и есть — застрял на нижнем этаже. Знаешь, в чём тут хитрость? Винить родителя — оно сладко. Я тебе честно скажу — сладко. Потому что снимает с тебя ответственность. Раз это они меня поломали, то с меня и спросу нет. Я не такой, какой есть, потому что меня таким сделали. Я не виноват, что у меня жизнь не задалась, — это отец виноват, мать виновата, время виновато. Удобно. Тепло. Лежишь себе в этой обиде, как в тёплой ванне, и ничего делать не надо. За тебя всё уже сломали, чего теперь чинить.

Он усмехнулся, невесело.

— Только ванна-то остывает. И ты в ней — стареешь. Лежишь в чужой вине, как в стоячей воде, и сам зацветашь, как пруд. Я таких много видал. Бабка одна тут была, царствие небесное, до восьмидесяти лет мать свою покойную поминала злым словом — мол, та её не любила, замуж не за того отдала, жизнь сломала. Восемьдесят лет! Матери уж полвека в могиле, а она всё винит. И что? И прожила свою жизнь не свою, а в обиде на чужую. Так и померла — обиженная. Вся жизнь — коту под хвост, на одну обиду ушла.

Андрей поёжился. Узнал в этом что-то и своё — ту дорожку, по которой легко скатиться.

— Так что же делать-то? Я ведь обижен по-настоящему. Не придумал. Он правда не любил. Я это не из головы взял.

— А и не отрицай, что обижен. — Игнат поднял палец. — Тут ошибка многих. Они думают: раз обижаться плохо, надо сделать вид, что не обижен. Простил, мол, всё хорошо. И загоняют обиду внутрь, под краску. Это мы вчера проходили — так нельзя. Обида есть — признай, что есть. Не ври себе. Но! — Он сделал паузу. — Признал — и иди дальше. Не оставайся в ней жить. Обида — это как боль от занозы. Боль говорит: тут заноза, вынь её. Правильно — вынуть занозу. А неправильно — всю жизнь сидеть и на боль жаловаться, занозу не вынимая. Боль-то для того и дана, чтоб ты занозу вынул, а не чтоб ты ею любовался.

— И как вынуть? Заноза — отец. Его не вынешь, он в прошлом.

— А вот тут — самое главное. — Игнат подался вперёд, и голос его стал тише, весомее. — Слушай внимательно, Андрюш. Отца изменить нельзя. Прошлого изменить нельзя. Что было — то было, не перепишешь. Он не любил, не похвалил — это уже навсегда, это в граните. Этого не починишь. Но! Ты можешь изменить одно. Не отца. Себя — теперешнего. Своё отношение к тому, что было. Ты не можешь сделать, чтоб отец тебя в детстве обнял. Но ты можешь перестать сегодня, в тридцать восемь, ждать этого объятия и злиться, что его не было. Понимаешь разницу? Прошлого не трогаешь — его не достать. А вот свою сегодняшнюю злость на прошлое — это твоё, это в твоих руках. Это ты можешь положить.

Андрей задумался. Это было непривычно — разделить так. Раньше всё было слито в одно: отец-обида-злость-я. А старик раскладывал по полочкам: отец отдельно, прошлое отдельно, а моя сегодняшняя злость — отдельно, и она-то и есть моя, и с ней-то я и могу что-то сделать.

— То есть, — медленно сказал он, — я виню отца за то, что было. А мучаюсь — от того, что я сейчас, сегодня, эту вину в себе держу. И держу я её сам. Никто меня не заставляет. Отец не заставляет — он мёртвый. Я сам каждое утро беру этот мешок и взваливаю.

— Вот, — тихо и довольно сказал Игнат. — Дошёл. Сам дошёл. Это, Андрюш, и есть верхний этаж. Отец насыпал тебе в детстве этот мешок камней — да. Его вина. Но таскаешь-то ты его сам, уже тридцать лет, сам, своими руками, каждый день. И вот это уже — твоя ответственность. Не вина — ответственность. Разные слова. Вина — это про прошлое, про то, что сделали с тобой. А ответственность — про настоящее, про то, что ты сам теперь с этим делаешь.

Он встал, прошёлся по двору, разминая ноги. Вернулся.

— Я тебе так скажу. До определённого возраста за тебя отвечает родитель. Маленький ты — что в тебя вложили, тем ты и есть. Не любили — ты не виноват, что вырос недолюбленный, как кривое дерево у плохого хозяина. Тут вся вина на них. А потом наступает день — у каждого свой, — когда ты становишься взрослый. И с этого дня — всё. С этого дня за тебя уже никто не отвечает. Только ты сам. Хочешь — таскай дальше мешок отцовский, вини его до гроба, живи в обиде. Твоё право, твоя жизнь. А хочешь — поставь мешок и иди налегке. Тоже твоё право. Но это уже твой выбор. Не отцовский. Твой. И за этот выбор спросится уже с тебя, не с него.

— А когда он наступает, этот день? — спросил Андрей. — Когда взрослеешь?

Игнат усмехнулся.

— А вот, может, сегодня и наступил. У тебя. К Самому. И никто за меня не поменяет.

— Никто, — подтвердил Игнат. — В том-то и горе людское, и в том же и свобода. Никто за тебя твою доску не поменяет. Ни психолог, ни поп, ни я, старый дурак. Мы тебе можем показать, где гниль, можем инструмент дать, рядом постоять, подсказать, куда поддеть. А пилить — ты сам. Зато и доска тогда — твоя. И крыльцо — твоё. И жизнь — твоя. А не отцова, по которой ты до сих пор ходишь.

Он сел обратно на крыльцо, взял остывший чай, поморщился, выплеснул на землю, налил из чайника горячего.

— И знаешь, что чудно? — сказал он. — Как только человек с нижнего этажа на верхний переберётся, как только перестанет винить и начнёт чинить, — у него и злоба на родителя сама собой тает. Потому что злоба-то откуда? Оттого, что ты бессилен. Тебе сделали, а ты ничего не можешь, только злиться. А как взял дело в свои руки, как стал сам себя чинить — бессилия нет. А нет бессилия — и злобе питаться нечем. Она и сохнет. И на её месте — что? А жалость. Жалость к отцу. Что он-то, бедный, так и не перебрался на верхний этаж. Так и помер, вина своего отца, таская свой мешок. Тебе хоть повезло — ты остановился, задумался. А ему и этого не дали.

Андрей почувствовал, как у него зашипало в горле. Он представил отца — не грозную глыбу, не стену, а уставшего человека, который всю жизнь таскал свой мешок камней, насыпанный дедом, и так и не догадался его поставить. Который не умел иначе. Которого никто не научил. И вместо привычной злости поднялось что-то другое — тёплое, горькое, жалеющее.

— Жалко его, — сказал он тихо. — Вот сейчас — жалко. Первый раз. Раньше только злость была, а сейчас — жалко.

— Ну вот, — мягко сказал Игнат. — Значит, доска пошла. Значит, режешь до здорового. Жалость — это первая чистая древесина под гнилью. За ней и любовь покажется, дай срок.

Они допили чай молча. Серые тучи над рекой чуть разошлись, в прореху глянул бледный свет, лёг полосой на воду. Игнат снова взял валенок, шило, дратву — вернулся к своему делу. Андрей сидел рядом, смотрел, как старые сильные пальцы стягивают кожу, и думал.

«Назвал — это нижний этаж. Чиню — это верхний. Отца не изменишь. Себя — можешь».

— Я письмо сегодня напишу, — сказал он вдруг. — Чувствую — пойдёт. Со злостью начну, как есть, врать не буду. А кончу — жалостью. Тем, что сейчас понял.

— Пиши, — кивнул Игнат, не отрываясь от валенка. — Только уговор. Напишешь со злостью — не останавливайся на ней. Злость — это чтоб гной вышел, чтоб нарыв вскрыть. Но рану-то после гноя чистят и зашивают, а не оставляют открытой гнить дальше. Так и письмо: вскрой злостью, а зашей благодарностью. Хоть за что-нибудь. За дом, за печь, за то, что на свет тебя пустил. Что-нибудь да найдёшь. А коли только злость выльешь и на том кончишь — это не письмо будет, а новая гниль. Так и помни: вскрыл — зашей.

— Вскрыл — зашей, — повторил Андрей.

Он встал, постоял на новом крыльце, на той самой доске, что они вчера вставили. Доска держала твёрдо. Не ухала, не проседала. Под ней было здоровое.

«Сегодня напишу, — подумал он. — Сегодня само пойдёт».

И пошёл к себе — по своей тропке, через два двора, мимо берёзы, готовиться к разговору, который тридцать лет откладывал. К разговору с отцом, которого уже не было на свете, — но который всё ещё сидел внутри, на гнилой доске, и ждал, когда его наконец вырежут и заменят на чистое.

Глава 13. Письмо при свече



Гроза налетела к ночи, внезапно, как это бывает поздней осенью. Днём ещё стояла серая хмарь, тяжёлая и неподвижная, а к девяти вечера небо вдруг заворчалось, загудело, и первый порыв ветра ударил в стену дома так, что задребезжали стёкла. Андрей сидел у печи, грел руки. Хотел было лечь пораньше — а тут это.

Молнии полыхали без передышки, одна за другой, выхватывая из черноты двор, мокрую берёзу, гнущуюся под ветром, забор. Гром катился над посёлком тяжёлыми валами, иногда так близко, что дом вздрагивал до основания. Дождь хлестал косой, бил в окна. Андрей встал, проверил, плотно ли закрыты ставни, подкинул в печь полено.

И тут свет мигнул раз, другой — и погас. Лампочка под потолком умерла, и комната провалилась в темноту, разрезаемую только вспышками за окном да красноватым отсветом из печной топки.

— Ну вот, — сказал Андрей вслух. — Дождались.

Он пошарил по полкам, нашёл коробок спичек. Свечу он видел раньше — в ящике стола лежали две, толстые, хозяйские, ещё от Лизы, наверное. Достал одну, поставил в блюдце, накапав воску, зажёг. Огонёк качнулся, выровнялся, и по стенам поползли длинные дрожащие тени. Стало тихо и странно — той особенной тишиной, которая наступает, когда отключают электричество: пропадает невидимый гул, что всегда стоит в проводах, в розетках, в зарядках, и остаётся только живое — огонь, дождь, гром.

Андрей сел к столу, придвинул свечу. Посмотрел на огонёк. И вдруг понял — вот оно. То самое «когда само». Гроза, темнота, свеча, и никуда не уйти, не отвлечься: ни телефона (сети нет), ни лампы, ни ноутбука. Только он, бумага и отец.

Он встал, порылся в сумке, достал тетрадь — ту, что привёз из Москвы и ни разу не открыл. Вырвал двойной лист. Нашёл ручку. Сел. Придвинул свечу ближе. Альбом стоял на столе, прислонённый к стене, — на той последней фотографии, со стариковским объятием. Андрей повернул его лицом к себе, чтоб видеть. Чтоб говорить как будто в лицо.

Долго сидел над пустым листом. Рука не шла. Снаружи грохотало, свеча дрожала от сквозняка, тянущего из-под двери.

Потом написал вверх: «Папа».

И всё. Застрял. Слово стояло одно, голое, чужое. Он никогда так его не звал — «папа». Звал «отец», и то редко, больше «бать» или вовсе никак. Зачеркнул. Написал: «Отец».

И — прорвало.

Рука пошла сама, торопливо, зло, буквы прыгали, наезжали друг на друга. Он писал, не выбирая слов, как говорил бы, если б отец сидел напротив живой. Писал про рыбалку. Про «руки-крюки». Про то, как ждал похвалы и не дождался ни разу. Про то, что отец смотрел мимо, всегда мимо, как тот мужик на фотографии. Про то, что он, Андрей, всю жизнь горбатился, доказывал, рвал жилы — и для кого? Для человека, которому было плевать. Который и на смертном одре, наверное, не сказал бы «молодец». Перо рвало бумагу. Слова шли грубые, какие он давно не позволял себе даже в мыслях, — вся та чёрная труха, что копилась тридцать лет под нарядной краской успеха.

«Ты сломал меня, — писал он. — Ты приучил, что я всегда плохой, всегда мало, всегда не дотягиваю. Я и жену потому не удержал — она тоже смотрела мимо, как ты, и мне это было привычно, как дома. Я и бизнес профукал — потому что гнал ради тебя, мёртвого, а не ради дела. Всё из-за тебя. Всё, всё...»

Он дописал страницу, перевернул, начал вторую — и вдруг остановился. Перечитал. И что-то в нём поморщилось. Не от слов — слова были правдивые. А оттого, что он услышал в них. Это был голос обиженного мальчишки. Вой. Тот самый — «за что мне это, кто виноват, это всё они». Нижний этаж, про который говорил старик. Лежание в тёплой остывающей ванне.

Андрей скомкал лист. Швырнул в угол. Посидел, глядя на огонь, тяжело дыша. Гроза снаружи стала стихать — раскаты уходили дальше, за реку, дождь барабанил уже ровнее, без надрыва.

«Вскрыл — зашей», — вспомнил он. Гной вышел. Теперь чистить рану и зашивать. А он только и сделал, что вскрыл и любителю на гной.

Он вырвал новый лист. Подобрал из угла скомканный — не выбросил, разгладил, положил рядом. Пусть лежит, это тоже правда, её сказать было надо. Но письмо будет другое.

Свеча оплыла наполовину. Андрей макнул перо — то есть ручку, но в этом дрожащем свете она казалась пером, — и начал заново. Теперь медленно. Каждое слово отстаивалось, как чай в заварнике, прежде чем лечь на бумагу.

«Отец.

Я долго на тебя злился. Тридцать лет. Ты не любил меня — так, как мне было надо. Не хвалил. Смотрел мимо. Мне это сломало многое, и я только теперь понимаю, насколько. Я тебе это написал — на другом листе, зло написал, и пусть будет, ты заслужил это услышать.

А теперь скажу другое.

Я узнал про тебя то, чего раньше не понимал. Что тебя самого не любили. Что дед бил тебя вожжами, гонял, ломал. Что ты рос в страхе, старшим из пятерых, тянул хозяйство с малых лет, и тебя никто ни разу не обнял, не похвалил, не сказал доброго слова. Тебе неоткуда было взять тепло, чтоб дать его мне. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Ты дал мне, что имел: крышу, еду, руки приучил к работе. А тепла у тебя в закромах не было. Его у тебя отняли раньше, чем ты родил меня.

Я долго думал, что ты не давал назло. А ты просто не мог. И это разные вещи».

Рука дрожала. Свеча дрожала. По щеке скатилось что-то — он не сразу понял, что плачет. Не утирал. Писал дальше.

«Я не хочу больше таскать на тебя злобу. Она не тебя мучает — тебя нет, тебе всё равно. Она меня горбит. Я кладу её. Здесь, на этом столе, при свече, в грозу. Кладу. Не ради тебя — ради себя. Чтоб дальше идти налегке.

А теперь — спасибо.

Спасибо, что пустил меня на свет. Это ты сделал, без этого не было бы ничего.

Спасибо, что научил руки работать. Я только тут понял, чего это стоит. Я топор держу, пилу, доску стругаю — и это от тебя. Ты у верстака стоял, и я рядом стоял, маленький, смотрел. Я думал, забыл. А руки помнят. Это твоё во мне, доброе.

Спасибо за ту рыбалку. Я злился на неё всю жизнь — за «руки-крюки». А ведь ты взял меня. Мать просила — а ты взял. Мог не брать. Целый день со мной просидел на берегу, хмурый, с похмелья, но просидел. Не ушёл. По-своему — это была любовь. Кривая, неловкая, какая была. Я только теперь это вижу.

Спасибо, что не бросил мать. Жил с ней до конца, как умел.

Я тебя прощаю, отец. И прошу — прости меня. За то, что тридцать лет тебя судил. За то, что на похоронах напился вместо того, чтоб поплакать. За то, что доброго слова тебе тоже ни разу не сказал — мы квиты в этом, оба молчали, оба ждали друг от друга и не дождались.

Я тебя люблю. Странно это писать мёртвому, которого боялся живого. Но люблю. Ты был, какой был. Я тебя отпускаю. И себя отпускаю — того пацана с плотвичкой, который всё ждёт, что ты повернёшься. Хватит ему ждать. Я ему сам теперь скажу, за тебя: молодец, сынок. Хорошо ты рыбу поймал. Я тобой горжусь.

Прощай. И здравствуй — как-то так выходит. Прощай и здравствуй.

Твой сын Андрей».

Он отложил ручку. Руки тряслись. Лицо было мокрое всё, не одна щека, — он плакал так, как не плакал, наверное, с детства, в голос, некрасиво, всхлипывая, уронив голову на руки, на стол, рядом со свечой. Плакал и не стыдился, потому что некому было видеть — только огонь, дождь за окном да отец на фотографии, который теперь, в дрожащем свете, как будто смотрел не мимо. Прямо. С той кривой, неловкой, поздней своей улыбкой.

Он плакал долго. Гроза совсем ушла, дождь стих до ровного шороха. Свеча догорала, оплавив в блюдце восковой лужицей. И когда слёзы кончились — а они кончаются, всегда кончаются, сколько бы ни казалось, что им нет конца, — внутри стало пусто. Но не той чёрной пустотой, которую он привёз из Москвы, из которой сквозило холодом. А другой — лёгкой, промытой, как небо после грозы. Будто вынесли из комнаты что-то тяжёлое, что стояло там годами, и осталось много места и воздуха.

Андрей утёр лицо рукавом. Посидел, глядя на догорающую свечу. Потом взял оба листа — и злой, скомканный, и второй, спокойный. Подумал. Злой — тот, где был один гной, — поднёс к огню. Бумага занялась, скрутилась, почернела. Он подержал её над блюдцем, дал догореть, уронил пепел туда же, к восковой лужице. Сжёг. Как старик учил про гниль: вырезал — и сожги, не таскай за собой.

А второе письмо — где была благодарность, где он зашил рану, — не сжёг. Сложил вчетверо. Подумал, куда. Встал, подошёл к чулану, нашёл альбом... нет, в альбом нельзя, альбом чужой, Генкин. Тогда просто — вложил листок между страниц своей нетронутой тетради, той самой, привезённой из Москвы. Пусть лежит. Это теперь его, написанное здесь, своей рукой.

Свеча потухла сама — выгорела до дна. В темноте остался только красный глазок печной топки да серый прямоугольник окна, в котором понемногу светлело: гроза прошла, и за тучами уже угадывался поздний неяркий рассвет.

Андрей не стал зажигать вторую свечу. Разделся в темноте, лёг. Тело было выжатое, как после тяжёлой работы, — будто он не письмо писал, а ту же тропу рубил, целый день, до ломоты. И в этой усталости было хорошо. Чисто.

Он лежал, слушал, как догорает печь, как капает с крыши — реже, реже, кап... кап... — совсем как в первую ночь, когда он приехал и лежал тут чужой, пустой, с одним вопросом «зачем я живу». Та же капель. А он — другой. Не весь, не вдруг, но что-то в нём сдвинулось этой ночью с мёртвой точки, с которой не двигалось тридцать лет.

«Молодец, сынок, — сказал он сам себе, мысленно, тому десятилетнему с плотвичкой. — Хорошо ты рыбу поймал».

И — странное дело — поверил. Не как пустые слова поверил, а всем телом, всей этой чистой усталостью. Будто и правда кто-то наконец повернулся и сказал. Не отец — отца нет. Он сам. Сам себе стал отцом, как старик велел. Взял у себя то, чего ждал от мёртвого.

Дождь перестал. За окном серело, голубело по краю. Где-то спросонья крикнул петух, осёкся, крикнул снова. Андрей закрыл глаза.

И уснул — глубоко, без снов, без той дёргающей тревоги, что годами сидела где-то под рёбрами и не давала спать по-настоящему. Уснул, как засыпают дети, которых наконец перестали ругать. Как засыпает земля после грозы. Спокойно.

На столе остывало блюдо с восковой лужицей и щепоткой чёрного пепла. В тетради, между чистыми страницами, лежало сложенное вчетверо письмо. А в груди у спящего человека, на том месте, где тридцать лет была чёрная гнилая доска, теперь стояла новая — свежая, светлая, чисто срезанная. Ещё некрашенная. Но крепкая. Держащая.

Утром он расскажет Игнату. Или не расскажет — старик сам сказал, что можно и не рассказывать. Но утром будет утро. А пока — ночь кончалась, и Андрей не боялся того, что она кончится. Он её просто проспал. Тихо. До света.

Глава 14. Прощение как освобождение



Андрей проспал до позднего утра. Когда открыл глаза, солнце уже стояло высоко, и в комнате было полно того прозрачного, после грозы вымытого света, который бывает только осенью, после большой воды. На столе сохло блюдо с восковой лужицей и щепоткой пепла. В тетради между страниц лежало сложенное вчетверо письмо. Альбом стоял прислонённый к стене — открытый на той последней фотографии, со стариковским объятием.

Он сел на постели, посидел, прислушиваясь к себе. Тело было лёгкое, странно лёгкое. Будто он сбросил мешок, который таскал так давно, что забыл, как ходят без него, и теперь шёл, и удивлялся: ноги несут, спина не гнётся. И в голове было тихо. Той же тишиной, что в комнате, — промытой, без обычного гула чужих голосов, требований, упрёков, без вечного отцовского «не наворовал ли», что годами стояло где-то под черепом.

Он умылся холодной водой из ведра, заварил чаю. Свечу остатки убрал в ящик — пригодится. Письмо вынул, посмотрел на него, перечитал. Не плакал больше — слёзы вчера все вышли. Просто прочитал, как читают чужое, удивляясь, что это написал он. Сложил, убрал обратно.

К Игнату пошёл уже к полудню. Не спеша. По своей тропке, через два двора, под высоким ясным небом. Воздух пах мокрой листвой, дымом и чем-то едва уловимым — поздним грибом, наверное, что лезет после такой грозы из-под прелого листа.

Игнат сидел во дворе на чурбаке и точил косу — водил бруском по лезвию ровными движениями, шик, шик. Косу он точил не для дела — какая коса в октябре, — а для зимы, чтоб лежала готовая, наточенная. Хозяйская привычка. Услышал шаги, обернулся.

Посмотрел на Андрея — и не сразу заговорил. Долго смотрел. Глаза у старика были светлые, спокойные, в них не было ни любопытства, ни лишнего сочувствия. Было — узнавание. Будто он что-то увидел в лице Андрея, что и без слов рассказало ему всё.

— Сел, — сказал он наконец. — Пиши, не пиши — оно по лицу видно. Письмо-то написал?

Андрей сел рядом, на другой чурбак. Кивнул.

— Написал. Ночью. Свеча была, гроза. Само пошло, как вы говорили.

— Ну и слава богу. — Игнат отложил косу и брусок, отёр руки о штаны. — Рассказывать будешь или при себе оставишь?

— Расскажу. Не подробно. А — что случилось.

Он помолчал, собирая слова. Старик не торопил. Достал кисет, свернул самокрутку, закурил — без жадности, по одному вдоху, как принято при серьёзном разговоре.

— Я сначала всю злость выплеснул, — начал Андрей. — Целый лист. Зло, грубо, как есть. А потом перечитал — и понял, что это не то. Это нытьё. «Кто виноват». Нижний этаж, как вы вчера. Скомкал. Стал писать заново. Спокойнее. Что понимаю про него — про деда, про войну, про то, что ему самому не дали. Что злость не он на мне держит, а я сам её таскаю. И — спасибо ему. За что было. За дом, за руки, за то, что на рыбалку взял ту единственную. И — простил. Написал — простил. И себя простил. И того пацана с плотвичкой себе пообещал больше не оставлять одного.

Он замолчал. Игнат курил, смотрел в сторону реки, не в лицо. Это было правильно — он давал Андрею говорить, не сбивал взглядом.

— А потом, — продолжал Андрей, — я первое письмо, злое, в свечке сжёг. Прямо там, в блюде. Как мы с вами труху в бочке вчера. Чтоб не таскать. А второе сложил, в тетрадь убрал. Оно остаётся со мной. Это, выходит, новая доска. Здоровая. Чистая.

— Сжёг — это правильно, — кивнул старик, не оборачиваясь. — То, чем ты вскрывал, оно одноразовое, как ланцет. Гной пустил — и в огонь его, чтоб другим не разнести. А благодарность — её хранят. Это уже не ланцет, это семя.

Помолчали. шик-шик — Игнат опять взялся за косу, заточение всё-таки надо было закончить. Андрей смотрел, как ходит брусок по лезвию.

— Игнат Петрович, — сказал он. — Я одного не понимаю. Я ведь его простил. Чувствую, что простил, не на словах. А он ведь не знает. Он мёртвый, он же не услышит. Это, выходит, как — само в себе, в одну сторону? Какой в этом смысл? Если он не узнает, то ему-то от моего прощения ни тепло, ни холодно. Я тогда кого простил — его или себя?

Старик отложил косу. Понял, что вопрос пошёл важный, не отделаешься точильным камнем.

— Хороший вопрос, Андрюш. Тут как раз про самое прощение. Я тебе так скажу. Большинство людей, когда говорят «простить», они думают — это для того, кого прощают. Будто ты ему милость оказал, отпустил вину, и ему оттого легче стало. И поэтому многие и не хотят прощать — особенно когда тот, кто обидел, и не просит, и не кается, или, как у тебя, помер давно. Думают: с какой стати я его буду одаривать прощением, если он этого не заслужил? Пусть мучается. Пусть в аду горит. Пусть мёртвый знает, что я его не простил.

Он усмехнулся, грустно.

— А правда вся, наоборот. Прощение — оно не тому, кого прощаешь. Оно тебе. Это ты себя отпускаешь, не его. Понимаешь? Отец твой и так уже отпущен — он мёртвый, ему все долги списаны, ни кредитов, ни обид, лежит в земле спокойно. Это ты в плену сидел. У собственной обиды на него. И вот ты эту обиду наконец положил — и плен кончился. Не для отца кончился, а для тебя. Стенка-то была не между тобой и им. Стенка была у тебя в груди. И ты её сегодня ночью разобрал. По брёвнышку. Своими руками.

Андрей слушал. Это совпадало с тем, что он чувствовал сам, но он не умел этого назвать. Старик умел.

— А я-то думал, прощение — это великодушие. Мол, я выше, я добрее, я снизошёл. Гордое такое слово.

— Гордое — да, есть в нём такой привкус. — Игнат потёр бороду. — Но это от непонимания. Настоящее прощение — оно как раз не сверху вниз идёт. Оно сбоку. По-братски. Когда ты на отца сверху смотришь — мол, ладно уж, прощаю, болван, тебе твою вину, — это не прощение. Это ещё одна гордость, только в красивой упаковке. Ты тогда не отпускаешь — ты на пьедестал залезаешь, и оттуда судишь, и оттуда милуешь. А с пьедестала-то слезть тоже надо. Иначе так и проживёшь судьёй своему мёртвому отцу.

— А по-братски — это как?

— А по-братски — это когда ты на него смотришь как на такого же, как ты. Не как на отца — большую страшную глыбу, которая тебя сломала. А как на мужика. На одного из миллионов. Которого тоже когда-то ломали. Который тоже не получил того, что было надо. Который тоже всю жизнь таскал свой мешок и не догадался положить. Когда ты так на него глянул — он перестаёт быть «отцом» с большой буквы, перестаёт быть твоим мучителем. Он становится — человек. Такой же бедолага, как ты. И тут уже не «прощаю» — тут просто «понимаю». А поняв — отпускаю. Потому что злиться на такого же бедолагу — оно и неловко как-то, и пусто.

Он замолчал, посмотрел на Андрея.

— Ты сам это уже почувал, я вижу. Ты вчера сказал — «жалко». Помнишь? Жалко его. Вот это и есть. Ты с пьедестала слез. Встал рядом. Понял, что вы — два мужика в одной беде, только в разных поколениях. И простил — не сверху, а сбоку, по-человечески.

Андрей кивнул. Это было правдой. Сегодня утром, когда он вспоминал отца, в нём не было ни злости, ни даже снисходительного «прощаю». Было — узнавание. Будто он наконец увидел отца не сквозь толщу собственной боли, а как есть. Уставшего, замкнутого, недолюбленного мужика. Своего, в общем-то. Родного.

— Игнат Петрович, — сказал он. — А вот тогда другое. Если прощение — это не для того, кого прощаешь, а для себя, то получается, всё равно, заслужил он или не заслужил. Можно и подлеца простить, и убийцу. Что, тоже? Всех подряд отпускать?

— Хитрый вопрос. — Игнат усмехнулся в усы. — Многие на нём спотыкаются. Я тебе так скажу. Простить — не значит сказать, что человек был прав. Не значит оправдать. Не значит сказать «ничего страшного, всё нормально». Если кто убил — он убийца, и это навсегда так, и грех его при нём. Если отец твой бил — он бил, это не отменяется. Простить — это другое. Это сказать самому себе: я с этой раной больше жить не буду. Я её закрываю. Я этого человека из своей сегодняшней жизни выписываю. Он в моём прошлом — но он больше не в моём настоящем. Я ему его дело оставляю — пусть он сам со своим Богом разбирается, не моё это дело. А я — иду дальше.

Он подался вперёд.

— Чувешь разницу? Не оправдать — а перестать держать в себе. Это разные дела. Можно простить и при этом не пустить человека обратно в свою жизнь. Если он живой и продолжает делать дурное — простить можно, а двери открывать не обязательно. Бить себя об ту же стенку второй раз — это уже не прощение, это глупость. Простил — отпустил из себя. Но если он опасный — на расстоянии его держи, чтоб опять не покусал. Это разные вещи: внутри — отпустить, а снаружи — границу провести. Внутри — без злобы, без яда. Снаружи — с разумом, с памятью, кто перед тобой.

Андрей задумался.

— А с отцом мне это уже без надобности. Он мёртвый. Двери закрывать не надо.

— С отцом — да, тебе только внутри. Тебе повезло в этом смысле — мёртвого проще простить, чем живого. Живой может ещё и насолить, и оправдать твою злость свежим поступ-

ком. А мёртвый — он замер. Какой был, такой и остался. С ним можно спокойно разбираться, он уже не подбросит. Тебе ещё с матерью с живой работать предстоит, вот там тяжелее будет, там надо и любить, и границу держать одновременно.

— Это потом, — сказал Андрей. — Это я понимаю, что не сразу.

— Конечно потом. Гниль не за раз вычищают. Один угол сделал — другой подходит. Это, Андрюш, на годы работа. Не пугайся. Но первый угол — он самый трудный. Дальше легче пойдёт. Топор уже в руках, рука помнит.

Они помолчали. Солнце пригрело по-осеннему, тихо, бережно. У ворот завозила чья-то курица, забрела через дорогу, поклевала что-то в палой листве.

— Я вот ещё что заметил, — медленно сказал Андрей. — Я сегодня проснулся — и внутри тихо. Понимаете? Не пусто, а тихо. Я раньше думал — это одно и то же. Пустота и тишина. А оказывается, нет. Пустота — это когда выгребли всё, и сквозит. А тишина — это когда есть что-то, оно стоит на месте, и не шумит. Хорошее, спокойное. Я тридцать лет в голове со своим отцом ругался. Не вслух — внутри. Каждый день, ну, или почти. То ему что-то доказывал, то возражал, то перед ним красовался. Он у меня там жил, на квартире. И только сегодня я понял — он съехал. Освободил жилплощадь. И тихо стало.

Игнат улыбнулся, по-доброму.

— Хорошо сказал. На квартире — это точно. Так оно у всех. У одного отец, у другого мать, у третьего бывшая жена, у четвёртого начальник, что унижал. Стоит человеку обиду затаить — и всё, поселился у него внутри тот, кого он не простил. И живёт там бесплатно, и шумит, и порядка не блюдёт. А хозяин — это ты сам — ютится по углам, потому что главная-то комната занята. Простил — выселил. И комната твоя, твоя жилплощадь, твой покой. Можно мебель свою расставлять.

Он подумал.

— Только знаешь, Андрюш, бывает ещё и так. Простил-то простил, выселил. А привычка — она ещё какое-то время остаётся. Идёшь по дому — и невольно оглядываешься: где этот, который тут жил? А его нет. И первое время даже неуютно — без него, как без зубной боли, к которой привык. Это не пугайся. Это нормально. Пустая комната через какое-то время сама обживётся, своим наполнится. А пока — пройдёт неделя-другая, и поймает себя на том, что без него и не помнишь.

— А я не сорвусь? — спросил Андрей. — Не вернётся он обратно? Не въедет ночью с чёрного хода, со старыми чемоданами?

— Может попробовать. — Игнат хитро глянул. — Они, обиды эти, упорные. Их выгонишь, а они опять ломаются: пусти, я тут жил, я свой. И вот тут смотри — не пускай. Чуть начнёт в голове опять отец «руки-крюки» говорить, а ты ему вслух или про себя: «Ты, батя, выписан. Письмо я тебе написал, мы с тобой простились по-доброму. Иди, иди, не задерживайся». И всё. Главное — не вступать в споры. С выписанным жильцом не спорят, его просто не пускают на порог. Захлопнул — и пошёл по своим делам.

Андрей засмеялся — искренне, не натянуто. И сам этому удивился. Что простой стариковский образ — выселить, не пускать с чёрного хода — оказался ему опорой, и он его понял всем телом, не одной головой.

— Игнат Петрович, — сказал он, отсмеявшись. — А ведь это и есть свобода, наверное. Я раньше думал, свобода — это, когда денег много и можно куда хочешь поехать. А теперь думаю — свобода — это, когда внутри никто чужой не живёт. Когда там — ты сам и тишина. Тогда хоть здесь, хоть в Африке — свободен.

— Вот, — сказал Игнат тихо, с удовольствием. — Сам всё сказал. Свобода не снаружи, Андрюш. Снаружи — обстоятельства, дороги, деньги. Хорошо, когда есть, плохо, когда нет, но это всё преходящее. А свобода — внутри. У кого внутри жильцов чужих много — тот и в самом большом дворце узник. А у кого внутри прибрано, выселены чужие, своё на местах —

тот и в лачуге свободен. И помрёт свободным, что важнее всего. А с какой-то полки внутри ему ещё и поклонится. Тихо так. По-стариковски. Будто говоря: молодец, мил человек, разобрался. Дальше иди.

Они посидели ещё. Косу Игнат не доточил — отложил, видать, до другого раза. Чай в кружках остыл, но Андрею было не до чая. Внутри стояло то самое — тишина и простор.

— Спасибо, — сказал он, поднимаясь. — За вчера. За сегодня. Я пойду. У меня сегодня и без работы — будто целый день отработал. Спать хочется, странно. Только встал — а уже спать.

— Это душа отдыхает, — сказал Игнат, не вставая. — Она у тебя тридцать лет в окопе сидела, под обстрелом. Сегодня отбой дали. Вот её и валит. Иди отсыпайся. Ничего сейчас лучше не сделаешь, чем выспаться. Завтра — новый день. Совсем новый.

Андрей пошёл к себе. И всю короткую дорогу, через два двора, чувствовал странное, незнакомое: что идёт один. Не с мешком за плечами, не с отцом, сидящим на загривке, не с чёрной свитой обид. Один. Сам по себе. И что в этом «один» нет одиночества — а есть свобода. Та самая, о которой только что говорил старик. Внутренний простор, в который можно теперь что-то ставить — но уже своё. Не чужое.

Он дошёл до калитки, открыл, оглянулся на стариковский двор. Игнат снова взял косу, брусом повёл. Шик-шик. Будничный звук. И в этом будничном звуке было всё — и его, Андрея, прощение, и стариковское молчание, и тишина внутри, и река за домами, и осеннее солнце.

Дома он лёг не раздеваясь, поверх одеяла. Думал — почитать, что ли. Не стал. Просто закрыл глаза. И в голове, привычно ожидавшей привычного отцовского голоса, было — тихо. Никто не въезжал с чёрного хода. Никто не требовал. Никто не смотрел мимо.

Он сам лежал в собственной комнате, в собственной голове, в собственной жизни. Хозяин. После долгого, очень долгого отсутствия — наконец вернулся домой.

Глава 15. Первая ночь без тревоги



Он проснулся сам. Без рывка, без той привычной утренней судороги, когда сознание выныривает из сна, как утопающий из воды, — хватая ртом воздух, сразу же натываясь на мысль, от которой холодеет под рёбрами: что-то не так, что-то надо решать, кому-то ты должен, где-то горит. Так он просыпался последние года полтора. Так просыпался даже здесь, в первые недели, — тревога ждала его на пороге каждого утра, как собака, не получившая хозяйского запрета, и кидалась с первым же проблеском сознания.

А сегодня — нет. Он лежал, ещё не открыв глаз, и прислушивался к себе. Тело было тёплое, тяжёлое, отдохнувшее. Сон не оставил после себя ни осадка, ни обрывков, ни той липкой плёнки, что обычно покрывала первые минуты. Просто — выпался. Просто — отдохнул. Как в детстве, когда сон был сплошным, ровным, без дна.

Андрей открыл глаза. По потолку, побелённому, в трещинах, с тёмным пятном от старого протёка, лежали косые полосы света — солнце вставало с той стороны, со стороны реки, и било в окно низко, по-зимнему остро. Он повернул голову. На столе стояла его тетрадь, в ней лежало письмо. Альбом был прислонён к стене. Печь давно остыла, но в комнате держалось тепло — стены за два месяца протопки прогрелись, не отдавали ночному холоду так легко, как в первые дни.

Он сел на постели и долго сидел, не двигаясь. Не потому, что не было сил встать, — а потому, что было хорошо вот так сидеть. Слушать. В голове было тихо. Не пусто — тихо. Он уже знал теперь разницу, старик научил. Пустота сквозит. А тишина — стоит, как полная чаша, и в ней покой.

Он попробовал по привычке найти тревогу. Пошарил внутри, как языком проверяют место, где раньше болел зуб. Где она? Должно же что-то ныть. Кому-то он должен? Что-то

горит? Партнёр, кредиторы, банк, бывшая жена, мать, отец... Перебрал — и ни на чём не зацепилось. Отец — выписан, ушёл этой ночью, навсегда. Мать — он позвонил, и между ними протянулась тёплая ниточка. Деньги — да, их почти не осталось, но это была забота, а не ужас; задача, а не пропасть. Тревоги не было. Зуб не болел. На его месте была ровная, гладкая тишина.

Странно. Непривычно. Он даже усмехнулся вслух, в пустой комнате: тридцать восемь лет, и за — сколько? — за годы, может, за десятилетия — он проснулся без страха. Без этого фонового гула, который он привык считать собой, своим характером, своей «ответственностью». А оказалось — не он это. Оказалось — съёмный жилец, который шумел в его голове, пока он сам ютился по углам. Жилец съехал. И стало тихо.

Андрей встал, оделся. Не спеша. Раньше он одевался на бегу, уже думая о делах, уже разговаривая мысленно с кем-то, уже проигрывая будущие переговоры. Сейчас он просто натянул свитер, ощутил, как шерсть скользит по плечам, увидел пар собственного дыхания в остывшей за ночь комнате. Заметил это. Раньше не замечал ничего — он жил всегда впереди себя, на полшага, на час, на день вперёд, в воображаемом будущем, которого ещё не было. А настоящее — этот пар, этот свет на потолке, эта шерсть свитера — проносилось мимо, незамеченное, как пейзаж за окном гоночной машины.

Он растопил печь — с первой спички, рука уже привыкла, знала, как сложить лучину шалашиком, куда подсунуть бересту. Поставил чайник. Пока вода грелась, нарезал хлеба, достал банку мёда — стариковского, гречишного, того, что Игнат подарил «за так». Зачерпнул ложкой, попробовал. Мёд тёк медленно, тяжело, с горчинкой и долгим травяным послевкусием. За ним — лето, цветы, тысячи перелётов. Он ел и чувствовал вкус. Просто вкус. Без мысли о цене, о пользе, о том, успел ли он что-то по графику.

Чайник закипел. Андрей заварил чай, налил в кружку, добавил мёда. И вышел с кружкой на крыльцо.

Утро стояло ясное, морозное. За ночь землю прихватило настоящим инеем — не той тонкой коркой, что была накануне, а плотным белым налётом, который покрывал траву, доски забора, ветки берёзы, превращая всё в серебро. Солнце поднималось над дальним берегом, ещё низкое, красноватое, и под его лучами иней начинал искриться, вспыхивать мелкими огоньками. Воздух был такой чистый, что резал ноздри, пах снегом, дымом из труб и стылой рекой.

Река лежала внизу, за огородами, широкая, серо-стальная, ещё не вставшая, но уже тяжёлая, медленная, с тем особым предзимним покоем, когда вода как будто гуще, чем летом. Над ней стоял пар — там, где тёплая ещё вода встречалась с морозным воздухом, поднимались редкие белые струйки, таяли в свете. Дальний берег тонул в этой дымке, и от этого казалось, что река уходит куда-то в бесконечность, в молочную глубину, без края.

Андрей сел на ступеньку — на ту самую, новую, что они с Игнатом не чинили, своя была крепкая. Поставил кружку рядом. Обхватил её ладонями — нет, поднял, отпил. Тепло пошло по телу. Пар от чая поднимался и смешивался с паром от дыхания.

Он сидел и смотрел на реку.

Раньше он не умел вот так — просто сидеть и смотреть. Это казалось ему пустой тратой времени, бездельем, чем-то стыдным. Сидеть без дела — значило отставать. Сидеть и смотреть на воду — значило быть лузером, неудачником, человеком, который ничего не добился. В Москве он не мог провести пять минут, не схватившись за телефон, не открыв ленту, не проверив почту. Тишина, пустота, неподвижность пугали его — потому что в них поднимались те самые вопросы, от которых он бежал. Зачем. Куда. Ради чего.

А сейчас он сидел, смотрел на серую дымящуюся реку, и вопросы не поднимались. Точнее, они были — но не пугали. «Зачем» уже не звучало как обвинение, как удар под дых. Оно звучало тихо, спокойно, почти с любопытством. Зачем. А вот посмотрим. Поживём — увидим.

Пчела не спрашивает — а он спрашивает, и это хорошо, это человеческое, и ответ придёт, не сразу, своим чередом, как мёд дозревает в сотах.

Он вспомнил первое своё утро здесь. Как стоял у окна, мокрый от не то пота, не то слёз во сне, и смотрел на эту же реку — чужую, холодную, безразличную. И как подумал тогда не «зачем я живу», а другое: «Ладно. Посмотрим». Это «посмотрим» было тогда последней соломинкой, за которую он зацепился, сам не веря. А теперь, через два месяца, оно проросло. Из соломинки — в тонкий, но живой стебель.

Иней на ближней ветке берёзы начал подтаивать на солнце. Капля собралась на кончике, сорвалась, упала. За ней другая. Кап. Кап. Андрей прислушался. Та же капель, что в первую ночь, когда он лежал в темноте с пустой душой и слушал, как протекает крыша, и считал промежутки, как метроном, отмеряющий бессмысленное время. Тогда эта капель была звуком его одиночества, его падения, его «зачем». А сейчас — просто таял иней на солнце. Просто наступало утро. Просто шла жизнь.

Он допил чай. Посидел ещё. Солнце поднялось выше, иней по двору таял, серебро превращалось в тёмную мокрую землю, в обычную траву. Где-то на другом конце посёлка завёлся трактор, протарахтел, заглох. Прокричал петух. Из трубы Игнатового дома, в трёх дворах отсюда, тянулся ровный сизый дымок — старик давно встал, топил печь, жил своей утренней жизнью.

И вот тут пришла мысль. Простая, ясная, без надрыва. Он подумал не о прошлом и не о боли. Он подумал — о том, что будет.

Аренда. Он снял дом на два месяца, заплатил вперёд, и эти два месяца почти истекли. По первоначальному плану — если он вообще что-то планировал, кроме как «переждать», «отлежаться», — он должен был к зиме что-то решить. Куда-то двинуться. В Москву возвращаться было не к чему и не на что. Куда тогда? Он не знал. Раньше не знал.

А сейчас — знал. Не разумом, не расчётом. Чем-то ниже, глубже. Тем самым тихим хотением, о котором говорил Игнат: своим, не напоказ, без зрителей. Он хотел остаться. Здесь. У этой реки. В этом доме, который построил чужой нелюбящий отец и который грел его все эти ночи. Рядом со стариком, у которого на любой случай была мазь и на любой вопрос — простое, выстраданное слово. Рядом с пасекой, которая гудела летом за версту. Рядом с тропой, которую они расчистили вдвоём, своими руками, к воде.

Он хотел увидеть, как встанет река. Как придёт зима, потом весна, потом лето — то самое, про которое старик обмолвился: «весной починим мостки», «летом гудит». Он хотел научиться держать топор по-настоящему, пилить в такт, ставить рамки, качать мёд. Хотел дочинить то, что начато. Дорасти до того, что начало в нём расти.

Мысль эта не была громкой. Не было в ней ни восторга, ни «нашёл себя», ни той фальшивой эйфории с тренировок, после которой через неделю пусто. Была — тихая ясность. Спокойствие, а не радость. То самое, по чему, как сказал старик, и узнаётся своё: не прыжок до потолка, а ровное тепло в груди и отсутствие точащего «зря».

Он встал. Зашёл в дом. Достал телефон. Сети, как всегда, почти не было — одна дрожащая палочка. Он вышел обратно на крыльцо, поднял аппарат, поймал тонкий сигнал. Нашёл в переписке хозяина — Генку, того самого, что в Германии, сына Митяя, мальчишки с плотвичкой, выросшего и сбежавшего от нелюбви за тысячу вёрст. Странно было думать, что они оба — и он, Андрей, и этот Генка — приехали к одному и тому же дому от одного и того же: от того, что дома недодали. Только Генка убежал, а Андрей — пришёл.

Он набрал сообщение. Не сразу — пальцы на морозе плохо слушались, и связь рвалась. «Геннадий, здравствуйте. Это Андрей, снимаю ваш дом в Кривцово. Хотел бы продлить аренду. На всю зиму и на всё лето, до осени. Если можно — оформим как договоримся. Дом хороший. Мне здесь хорошо».

Помедлил над последней фразой. «Мне здесь хорошо». Раньше бы стёр — лишнее, личное, ни к чему в деловой переписке. Сейчас оставил. Это была правда. Простая, тихая правда. И отправил.

Сообщение ушло не сразу — повисло, повисло, потом наконец улетело с тихим свистом. Андрей опустил телефон. Постоял, глядя, как тает последний иней на берёзе.

Ответ пришёл минут через двадцать, когда он уже грел вторую кружку чая. Телефон коротко звякнул. Андрей снова вышел на крыльцо, поймал сигнал, открыл. Генка отвечал коротко, по-деловому, но в конце было и человеческое: «Здравствуйте, Андрей. Конечно, оставайтесь, я только рад, что дом живой и кто-то там есть. До осени — без вопросов, оформим. Цену не поднимаю. Берегите дом, он отцовский, крепкий. И печь там хорошая, отец клал. Тепла вам».

«Отец клал». «Тепла вам». Андрей перечитал дважды. Усмехнулся — тихо, тепло. Вот и Генка помнил. Вот и в нём, через тысячу вёрст, через всю злость и бегство, осталось — «отец клал», «крепкий», «берегите». Под гнилью — здоровое дерево. У каждого. Надо только дорезать до него.

Он убрал телефон. Дело было сделано. Маленькое, тихое, без свидетелей. Никто не аплодировал. Никто не узнал — кроме Генки в далёкой Германии да самого Андрея. И в этом и была вся суть. Это было первое настоящее решение его новой жизни — принятое не из страха, не чтобы доказать, не чтобы не отстать, не на публику. А из тихого «мне здесь хорошо».

Он выбрал остаться. Не переждать — остаться. Не отлежаться и двинуться дальше по чужой колее — а пустить корень здесь, у этой реки, на этой узкой тропе, которую сам же и расчистил. Дерево, чтоб глубоко пустить корень, должно сперва ветром помотаться, говорил старик. Его помотало. Теперь — пора в землю.

Андрей допил чай. Посмотрел ещё раз на реку — она уже почти очистилась от пара, лежала ясная, серебристо-стальная под высоким холодным солнцем. Где-то под этой водой, под этим спокойствием, уже начиналась зима — медленная, неотвратимая, та, что скуёт реку льдом и накроет посёлок снегом, и которую ему предстояло прожить здесь, не убегая.

Он не боялся её. Зимы. Раньше боялся бы — холода, темноты, одиночества, безденежья, неизвестности. А сейчас — нет. Будет печь. Будут дрова — наколет. Будет старик в трёх дворах, чай с мёдом по вечерам, разговоры. Будет тишина, в которой можно наконец услышать себя. Будет дело — не своё ещё, чужое пока, но прирастающее: пчёлы под снегом, инструмент в сарае, тетрадь, в которую, может, он что-нибудь да запишет.

Хватит, подумал он. Снова это слово. Хватает. На зиму — хватит. На жизнь — хватит. Не много, а — хватает. И в этом «хватает» было больше богатства, чем во всём, что он имел в Москве.

Он встал со ступеньки. Размялся, потянулся — спина, плечи, руки, ещё помнившие топор и пилу. Глянул в сторону Игнатова двора, на сизый дымок из трубы. Надо бы зайти. Сказать старику — остаюсь. Хотя старик, наверное, и так уже знал. Он многое знал без слов — по лицу, по тому, как человек держит кружку, как смотрит на реку. Вчера ещё, прощаясь, бросил: «Завтра — новый день. Совсем новый». Знал.

Андрей занёс пустую кружку в дом, сполоснул, поставил на полку. Оделся потеплее — морозец на дворе крепчал, несмотря на солнце. У двери постоял, оглядел комнату. Стол, печь, лавка, продавленный диван, тетрадь с письмом, альбом у стены. Чужое, съёмное, временное — а уже своё, обжитое, тёплое. Дом. Не пристанище — дом.

Он вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь. Постоял ещё секунду, вдохнул морозный воздух полной грудью — и пошёл по своей тропке, через два двора, к старику. Сказать. Или не сказать — а просто прийти, сесть рядом, попить чаю, помолчать. Этого было довольно.

Под ногами хрустел подтаявший и снова схваченный иней. Над головой стояло высокое, ясное, холодное небо. Впереди гудела — нет, зимой не гудела, спала — пасека. И где-то очень

глубоко, на том месте, где два месяца назад была чёрная яма с одним вопросом «зачем я живу», теперь тихо текла река. Серебристая. Спокойная. Своя.

Андрей шёл и думал: вот и всё. Вот и выбрал. Остаюсь.

И это слово — «остаюсь» — не пугало его, как пугало бы прежнего, гнавшего, рвавшегося куда-то вперёд человека. Оно грело. Как печь, которую сложил чужой отец. Как мёд в кружке. Как тишина в груди, где наконец-то стало просторно и тихо.

Он шёл к старику. Утро было совсем новое. Совсем.

ЧАСТЬ II. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ВЕРА

Глава 16. Бабушка у коттеджа



Зима прошла. Прошла так, как Андрей и не думал, что может пройти зима, — не вычеркнутой из жизни чёрной полосой, которую надо перетерпеть, а полной, плотной, со своим вкусом и своим делом. Он научился топить печь так, чтобы тепла хватало до утра. Научился колоть дрова — не мимо сучков, как в первые дни, а в самую жилу, чтобы полено разлеталось с одного удара. Прочистил с Игнатом ульи от подмора по весне, помог выставить пчёл из омшаника на первый облёт и стоял, замерев, глядя, как они кружат над снегом в марте, обалдевшие от солнца. Река встала в декабре, и он видел это — медленное, тяжёлое схватывание воды льдом. Потом видел, как она вскрывалась в апреле, грохоча, ломая лёд на куски, унося их вниз, к большой воде.

Мать он навещал дважды за зиму — ездил в Москву на своей «Тойоте», которую починил наконец, своими руками, по совету Игната и с его же ключами. Сидел у матери, пил чай, слушал. Не отмахивался. Она помолодела за эти месяцы лет на десять, и это было большее всего — видеть, как мало ей было надо. Просто чтобы сын сидел рядом и слушал.

Настал май. Земля просохла, зацвела черёмуха, потом сирень, и пасека загудела — та самая, что обещал старик, за версту слышать. Игнат собрался в райцентр — не на рынок ещё, рано, мёда не было, — а в сельсовет, по какому-то делу с документами на землю, и взял Андрея с собой. За рулём теперь чаще сидел Андрей: у старика к вечеру уставали глаза, да и зимой он раз-другой жаловался на сердце, отмахиваясь — «прихватывает, бывает».

Ехали не спеша, по подсохшей, но ещё разбитой дороге. День стоял ясный, тёплый, по обочинам зеленела молодая трава, в придорожных канавах стояла вода, отражая небо. Андрей вёл, Игнат смотрел в окно, изредка кивая на что-нибудь: вон бобры запруду навели, вон аист на старой опоре гнездо вьёт, второй год уже.

На въезде в большое село, что лежало на полпути к райцентру, дорога делала поворот, огибая холм, и вот тут, за поворотом, открылась картина, которая ударила Андрея в глаза так, что он сбросил скорость.

Слева, на лучшем месте — на пригорке, откуда открывался вид на реку и заливные луга, — стоял коттедж. Огромный, новый, в три этажа, из жёлтого облицовочного кирпича, с башенками, с зеркальными окнами в пол, с балконами под коваными перилами. Вокруг — забор: высокий, глухой, из тёмно-зелёного профлиста, метра три в высоту, с острыми пиками поверху и с видеокамерами по углам, поблёскивающими чёрными глазами. За забором угадывались газон, какие-то декоративные туи, ещё одна постройка — то ли гараж на несколько машин, то ли баня. У ворот — массивных, автоматических, с домофоном — стоял чёрный джип, чистый, блестящий, дорогой, явно тысяч за десять долларов, если не больше. Андрей в прошлой жизни разбирался в таких. Знал цену.

А справа от дороги, прямо напротив этого дворца, через канаву, стояла изба. Старая, чёрная от времени, вросшая в землю по нижние венцы. Крыша провалилась с одного края, прикрытая кое-как куском рубероида, прижатого кирпичами. Одно окно заколочено фанерой, в другом — мутное, треснувшее стекло. Покосившийся забор-штaketник, серый, гнилой, половина штaketин выпала. Маленький огорожок, на котором уже что-то было вскопано, — грядки, неровные, кривые, но обихоженные.

И возле этой избы — старушка. Маленькая, согнутая, в телогрейке и резиновых сапогах, в платке. Она шла от колонки — нет, не от колонки, колонки тут, видать, тоже не было, — от колодца, что стоял поодаль, у дороги, метрах в полтора от избы. Шла медленно, тяжело, неся два ведра воды на коромысле. Коромысло врезалось ей в плечи, она клонилась под ним, переставляла ноги мелко, осторожно, чтоб не расплескать. Вода качалась, выплёскивалась через край, на сапоги, на землю. Старушка останавливалась, отдыхала, переводила дух, снова шла. Полтора метра. С двумя ведрами. Согнутая в три погибели.

А мимо неё, обдав её пылью и сизым дымком, как раз вырлил из автоматических ворот тот самый чёрный джип — и, не притормозив, не глянув, ушёл вперёд по дороге, к райцентру. За тонированными стёклами не видно было лица. Просто машина. Просто дорогая, чистая, сытая машина, проехавшая мимо старухи с ведрами, как мимо столба.

Андрей съехал на обочину. Сам не понял зачем. Просто не мог ехать дальше. Остановил, заглушил мотор. Посмотрел налево — на дворец. Посмотрел направо — на избу и согнутую старуху. И почувствовал, как внутри поднимается что-то горячее, давно знакомое, злое.

— Вот, — сказал он, и голос у него дрогнул. — Вот, Игнат Петрович. Вы посмотрите. Нет, вы посмотрите на это.

Игнат смотрел. Молча.

— Дворец. Камеры. Джип. Забор в три метра — от кого тут отгораживаться, в деревне-то? А напротив — бабка. Воду на коромысле таскает. За полтора метра. В её-то годы. И он, гад, мимо неё проехал — и не остановился. Вон, на джипе своём. Не подвёз. Воды ей не привёз. Колонку ей не провёл. Ничего.

Он стукнул ладонью по рулю — старым своим жестом, от которого давно отвык.

— И где тут справедливость? А? Вот где? Я всю зиму думал — ну, разобрался в себе, простил отца, успокоился, тихо стало. А вот выезжаю — и опять. Опять то же самое. Кому-то — всё. Дворец, машины, забор от людей. А кому-то — гнилая изба и ведра на горбу до самой смерти. И ведь эта бабка наверняка всю жизнь горбатилась. В колхозе, в поле, не разгибаясь. Честно. А под старость — вот. А этот, — он мотнул головой вслед уехавшему джипу, — этот

небось наворовал, или папа наворовал, и сидит за забором, и плевать ему. И так — везде. Всю жизнь так. Хорошие — мучаются, подлецы — жируют. И никому наверху до этого дела нет. Если он есть, тот, кто наверху.

Голос сорвался на последних словах. Андрей замолчал, тяжело дыша, глядя на старуху, которая дотащила наконец свои вёдра до калитки, поставила, разогнулась — медленно, держась за поясницу, — и постояла, отдыхая, прежде чем занести воду во двор.

Игнат не спешил отвечать. Он смотрел туда же, куда и Андрей. Лицо его было спокойное, но не равнодушное — внимательное, серьёзное. Он видел этот контраст не первый раз — он этой дорогой ездил годами, и коттедж этот рос у него на глазах, год за годом, и бабку эту, наверное, знал. Но он смотрел так, будто видел всё это заново, глазами Андрея.

— Помочь ей надо, — сказал он наконец. Не про справедливость. Про дело. — Воды занести. Заодно и познакомимся.

Он открыл дверцу, кряхтя выбрался из машины. Андрей, помедлив, вышел тоже. Они перешли через канаву по двум брошенным доскам, подошли к калитке. Старушка обернулась — испуганно сперва, как все одинокие старики, живущие на отшибе, потом, разглядев Игната, заулыбалась беззубым ртом.

— Игнат Петрович! Батюшки. Какими судьбами. — Голос у неё был тонкий, дребезжащий, но живой, приветливый.

— Здорово, Палагея. Мимо ехали, дай, думаю, заглянем. Давай-ка вёдра, занесу. Чего ж ты сама-то таскаешь, надорвёшься.

— Да кто ж занесёт-то, родимый, — сказала старушка, и в голосе её не было ни жалобы, ни злобы — простая констатация. — Одна я. Сын в городе, не ездит. Внуки и подавно. Сама и таскаю, покуда ноги носят.

Игнат подхватил вёдра — оба разом, легко, будто и не семьдесят ему, — занёс во двор, в сени, поставил. Андрей стоял у калитки, смотрел. Старушка засуетилась, приглашала в дом — чаю, чаю, у меня варенье есть, прошлогоднее, — и было видно, что гостям она рада до слёз, что живой человек у неё во дворе — событие, праздник.

В избу заходить не стали — Игнат сказал, что спешат, в сельсовет надо. Но постояли во дворе, поговорили. Игнат расспросил про здоровье, про огород, про крышу — крышу-то надо чинить, Палагея, протечёт ведь совсем. Обещал прислать кого из посёлка, кто плотничает, или сам с Андреем как-нибудь заехать, рубероид перестелить. Старушка кланялась, благодарила, утирала глаза уголком платка.

А Андрей всё косился через дорогу — на жёлтый дворец, на глухой забор, на чёрные глазки камер.

— А это кто там живёт-то? — не выдержал он, кивнув на коттедж. — Через дорогу.

Палагея глянула туда, поджала губы.

— А бог его знает, милый. Городские какие-то. Понастроили вон. Года три как. Приезжают редко, на лето больше, да и то — заедут за забор, и не видать, не слышать. Камеры вон навешали. Собака там злая, лает. — Она махнула рукой. — Не знаюсь я с ними. Они со мной — тем более. Чужие.

— И воды вам не предложат? Колодец-то вон какой далёкий, а у них там, поди, водопровод, скважина, всё своё.

— Да я и не прошу, — сказала старушка просто. — Зачем мне у чужих просить. У меня свой колодец был, во дворе, да обвалился прошлой осенью, не выберешь уж теперь, стара чистить. Вот к дорожному и хожу. Ничего. Дойду помаленьку.

Они попрощались. Игнат пообещал заехать насчёт крыши. Старушка стояла у калитки, махала им вслед сухонькой рукой, пока они переходили канаву обратно к машине.

Сели. Андрей завёл мотор, но трогаться не спешил. Сидел, глядя через лобовое стекло на эту картину — дворец и избу, забор и колодец, джип, уехавший в сытую даль, и старуху, машущую вслед.

— Ну вот, — сказал он глухо. — Помогли. Воды занесли. А завтра? А послезавтра? Она ж опять одна. Опять с коромыслом. И так — до смерти. А он, — снова кивок на коттедж, — он и не почешется. Это разве справедливо, Игнат Петрович? Вот вы спокойный такой. А вас это не злит? Вот это вот всё?

Игнат помолчал. Достал кисет — он редко курил, и Андрей уже знал: достает кисет — значит, будет серьёзный разговор. Но в этот раз свернул самокрутку, повертел в пальцах и не закурил. Просто держал.

— Злит, — сказал он наконец. Тихо. — А ты думал, я каменный? Я ж тоже человек, Андрюш. Я Палагею эту тридцать лет знаю. Она в войну девчонкой была, в тылу, на торфоразработках надрывалась, мужа схоронила рано, сына одна подняла — а сын вон в городе, носу не кажет. Всю жизнь работала, копейки не украла, мухи не обидела. И вот тебе старость её — изба гнилая да колодец за полтора метра. А напротив — дворец, и в нём не пойми кто, и плевать ему. Конечно, злит. Я не каменный.

Он повертел самокрутку.

— Только, Андрюш, ты вопрос-то задал большой. Самый, может, большой из всех, что человек себе задаёт. Больше, чем про отца, больше, чем про деньги. «Где справедливость». «За что одним всё, а другим ничего». Этот вопрос людей с ума сводил, в петлю загонял, от Бога отвращал. На нём целые умы спотыкались. Это не на дороге, на ходу, отвечать. Это, считай, на всю обратную дорогу разговор. И то не отвечу — направление только покажу.

— Так покажите, — сказал Андрей. — Я правда не понимаю. Я думал, я успокоился. А выехал — и опять всё кипит. Будто и не было зимы.

— Это хорошо, что кипит, — сказал Игнат неожиданно. — Это в тебе совесть кипит, а не злоба пустая. Кто на такое смотрит и не кипит — у того внутри уж умерло что-то. А у тебя живо. Только кипение это, надо в дело пустить, в понимание, а не в одну злость. Злостью-то бабке колодец не выроешь.

Он тронул Андрея за плечо.

— Поехали. В сельсовет успеем, и поговорим по дороге. А насчёт Палагеи я тебе так скажу, чтоб ты не думал, будто я только рассуждать горазд: на той неделе возьмём с тобой инструмент, рубероид, поедем — крышу ей перекроем. И колодец её глянем — может, и не пропал, может, вычистим да обновим венец, и будет ей вода во дворе. Это в наших силах. А вот переделать весь мир, чтоб в нём справедливо было, — это не в наших. И вот про это — где кончаются наши силы и начинается то, чего нам не дано понять, — про это и поговорим.

Андрей тронул машину. Дворец и изба поплыли назад, скрылись за поворотом. Но картина осталась — выжглась в памяти. Согнутая старуха с ведрами на коромысле. Чёрный джип, проехавший мимо. Глухой забор в три метра, отгородивший сытость от нужды.

— Поехали, — сказал он. — Рассказывайте. Я слушаю.

И они поехали — по подсохшей майской дороге, мимо зеленеющих полей, к райцентру, и старик начал говорить — неспешно, негромко, как всегда, когда речь шла о большом. О справедливости. О том, почему одним всё, а другим ничего. О том, что видно глазу — и о том, чего глазу не видно.

Андрей вёл и слушал. И где-то под рёбрами горячее, злое, кипящее понемногу остывало — не в равнодушие, нет, а в другое: в готовность понять. И в твёрдое, простое, как доска под ногой: на той неделе — крышу. И колодец. Это в наших силах.

Глава 17. Почему кому-то всё, а кому-то ничего?



«Тойота» катила по майской дороге, мимо зеленеющих полей, в которых стояла талая вода и отражалось высокое небо. Андрей вёл молча, держал руль обеими руками. Картина за поворотом не отпускала: дворец и изба, джип и коромысло. Игнат сидел рядом, не раскуренная самокрутка в пальцах, смотрел вперёд.

— Ну, с чего начать-то, — сказал он наконец. — Давай так. Ты сейчас злишься. И вопрос твой — он из злости родился. «Почему одним всё, а другим ничего». А в вопросе этом, Андрюш, уже зашита ошибка. Маленькая, да важная. Ты как сказал: одним — всё, другим — ничего. А ну-ка вспомни. У того, кто в коттедже, — у него что есть?

— Дом. Машина. Деньги. Забор. Камеры.

— Это всё снаружи. А внутри у него что — ты знаешь?

Андрей помолчал.

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. И никто не знает. Может, у него внутри пусто, как у тебя в Москве было. Может, он за этим забором от страха прячется, спать не может, чтоб не отняли, чтоб не догнали. Может, жена его не любит, дети чужие, и сидит он в своём дворце один, как в тюрьме, и завидует вот этой Палагее, которая на завалинке солнышку радуется. Ты этого не видел. Ты видел забор. И решил — за забором счастье. А может, за забором — ад почище твоего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.